



И·А·БУНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВОСЬМОЙ

ОКЛЯННЫЕ ДНИ
ВОСПОМИНАНИЯ
СТАТЬИ
И
ВЫСТУПЛЕНИЯ
1918 - 1953

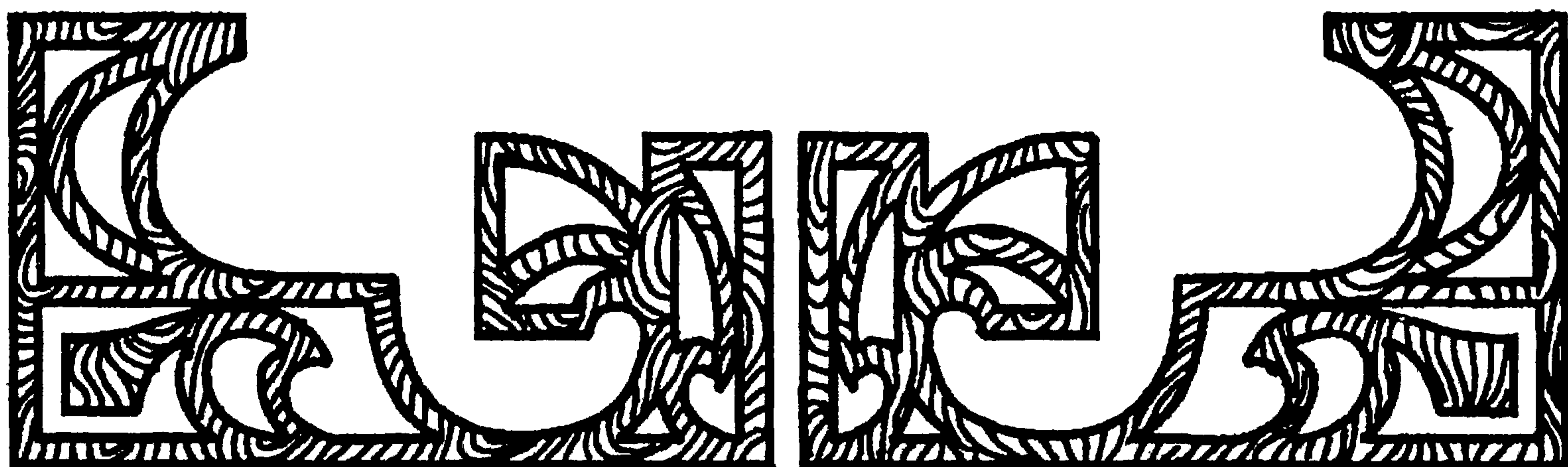


МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
2000





СТАТЬИ
И
ВЫСТУПЛЕНИЯ





СТРАШНЫЕ КОНТРАСТЫ

Можно ли придумать более страшные контрасты: Тургенев и современная русская литература, годовщина тургеневского рождения — и годовщина так называемого большевизма, сделавшего родину Тургенева позором всего человечества! Можно ли говорить о Тургеневе при наличии таких контрастов!

В русской литературе уже давно началось и прочно во дворилось нечто подобное тому, что ныне происходит в русской жизни. Литература Пушкина, Толстого, Тургенева за последние десятилетия так низко пала, — до того, что в ней считаются событием даже нарочито хамские, кощунствующие именем Христа и его Двенадцати Сподвижников вирши Блока! — настолько потеряла ум, вкус, такт, совесть и даже простую грамотность, так растлила и втоптала в грязь «великий, правдивый язык», завещанный Тургеневым, что для меня достаточно было бы и одного этого, чтобы встретить тургеневский юбилей только стыдом и молчанием. Но говорить о Тургеневе в это ни с чем не сравнимое время, когда Бог привел мне видеть подтверждение моих дум о русском народе в такой ужасной мере, говорить о великом и прекрасном русском поэте и вспоминать наряду с этим 28 октября прошлого года, когда русский народ, с радостным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги наемных разбойников, жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль, говорить, еще чувствуя на глазах горечь тех слез, которыми я плакал в Орше, оставив за собой развалины России, праздновать тургеневскую годовщину в дни, когда там, на этих развалинах, тоже празднуют, — сразу две годовщины! — праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом и Горьким, который, может быть, в эту минуту, ломая роль «фанатика», произносит среди человеческих и лошадиных трупов пламенные речи о пользе

просвещения и щедро оделяет томиками «социализированного» Тургенева — победоносный русский демос, тот самый демос, который уже осквернил могилу Толстого, сжег дом Пушкина, в прах разнес родовое тургеневское гнездо, а теперь спокойно дерет окровавленными лапами эти самые томики на сигарки, — нет, говорить и праздновать в эти окаянные дни уже совсем выше моей силы.

<10 ноября 1918, Одесса>

<ПРИВЕТ СОЮЗНИКАМ>

Акад. Ив. А. Бунин

Много чувств совмещается теперь в нашем сердце. И все-таки — ведь это они порвали в клочки тот постыднейший в мире ярлык, на котором от имени великой России расписался репортер Карахан!

<7 декабря 1918, Одесса>

ЗАМЕТКИ

* * *

Опять еврейские погромы. До революции они были редким, исключительным явлением. За последние два года они стали явлением действительно бытовым, чуть не ежедневным. Это нестерпимо. Жить в вечной зависимости от гнева или милости разнузданного человека-зверя, человека-скота, жить в вечном страхе за свой приют, за свою честь, за свою собственную жизнь и за честь и жизнь своих родных, близких, жить в атмосфере вечно висящей в воздухе смертельной беды, кровной обиды, ограбления, погибать без защиты, без вины, по прихоти негодяя, разбойника — это несказанный ужас, это мы все — уже третий год переживающие «великую русскую революцию», — должны хорошо понимать теперь. И наш общий долг — без конца восставать против всего этого, без конца говорить то, что известно каждому мало-мальски здравому человеку и что все-таки нуждается в постоянном напоминании. Да, так жить дальше просто не вмоготу. Да, пора задуматься подстрекателям на убийство и справа и слева, революционе-

рам и русским и еврейским, всем тем, кто уже так давно, не договаривая и договаривая, призывает к вражде, к злобе, к всякого рода схваткам, приглашает «в борьбе обрести право свое» или откровенно реветь на всех перекрестках: «смерть, смерть!» — неустанно будя в народе зверя, натравливая человека на человека, класс на класс, выкидывая всяческие красные знамена или черные хоругви с изображением белых черепов. Да, Троцкий — еврей, но ведь Ленин не еврей, — «отец его, — как сказано во всех его биографиях, — волжский крестьянин, выбившийся в люди и ставший впоследствии директором волжских народных училищ». Да, соборы нельзя переделывать и переименовывать в кинематографы «имени товарища Свердлова», и убийство за одного Урицкого целой тысячи ни в чем не повинных людей есть чудовищная гнусность, но ведь какой-нибудь конотопский еврей не виноват в осквернении московских соборов и ведь убивали-то за Урицкого все-таки русские матросы, русские красноармейцы, латыши, китайцы. Да, жить без Божеских и человеческих законов, жить без власти, без защиты, без обуздания своевольника — нельзя. «Страшно сказать, но большинство людей — животные», — сказал Л. Н. Толстой. И против животного в человеке всячески надо восставать, и животного в человеке надо обуздывать, и в действия его надо вмешиваться всякому человеку — и ближнему и дальнему, и русскому и еврею, и французу и японцу.

«Перед законом все равны», — сказал генерал Деникин. И его правительство не за страх, а за совесть, стремится проводить в жизнь его предназначения. Правительство неустанно декларирует о своей непреклонной воле всемерно бороться со всем, что несет скорбь и боль каждому гражданину России без различия национальностей и классов. Правительство уже не раз высказывалось и уже не раз действовало по мере сил и с успехом и с полной твердостью в этом духе. Еврейские погромы не его вина. Это вина части русского народа, и до сих пор еще распаляемого на всяческую братоубийственную рознь и всяческое озверение. «Власти, — как справедливо сказала недавно даже одна из самых левых газет в Одессе, — всячески добиваются восстановления порядка и прекращения кровавых событий».

Еврейские погромы длятся уже очень давно — стоит только вспомнить, что пережило несчастное еврейское население не только всей Украины, но и всего Юго-Западного края и всей Польши за осень, зиму и лето прошлого и нынешнего года. Мешаются потоки еврейской крови с реками крови, льющейся на всех фронтах нашей ужасающей в своей нелепости гражданской войны и ны-

не. Стихийность народной злобы, дико распаленной за годы великого русского бунта, бушует со страшной силой. Что может сразу сделать с этим несчастьем правительство? Мы можем только надеяться и надеемся, что оно будет неуклонно идти своим путем, жестокой и праведной карой пресекая все преступное и злое, недопустимое в человеческом общежитии. Мы можем только надеяться и надеемся, что оно еще усилит свою решимость действовать с полной беспощадностью на этом пути. Горячо, свято и уже не раз возвышало свой голос о недопустимости всяческих изуверств и наше духовенство в лице своих высших представителей.

Да будет так и впредь. Ибо, повторяю, жить без усмирения погромщика, своевольника, без усмирения его словом и делом, нельзя. Да и вообще, говорю еще раз, надо обуздывать зверя в человеке и в действия его надо вмешиваться. Обойтись без этого нельзя, и это надо почаще вспоминать революционерам всяческих толков.

Вот все они совершенно справедливо возмущаются погромами и натравливанием русских на евреев, неистово клянут все это, шлют протесты «к народам всего мира» и, конечно, ничего не имели бы против, если бы не только русский доброволец, но и француз, англичанин, японец самой беспощадной рукой наказал и смирил погромщиков русских, малорусских, польских, австрийских, венгерских, — т.е. ровно ничего не имели бы против этого «вмешательства во внутренние дела» России, Польши, Австрии, Венгрии. А ведь, Бог мой, как жестоко и уже не раз брали они в копыта, например, меня, когда я говорил о темных и зверских сторонах своего народа, когда речь шла об этой темноте и об этом зверстве не в связи с еврейскими погромами, когда я выступал вообще против всяческих злодеяний, называемых революцией, и ждал вмешательства Европы в наше дрящущее уже два с половиной года, на христианской земле, в двадцатом веке свирепое и бессмысленное злодеяние!

В декабре прошлого года, в дни для нас очень горькие и все же обещающие возвратить нас хоть к минимальной человечности, когда Одесса встречала французов, я писал:

И боль, и стыд — и радость...
Да будет так. Привет тебе, Варяг.
Во имя человечности и Бога,
Сорви с кровавой бойни наглый стяг,
Смири скота, низвергни демагога!

Что же отвечали мне революционеры? «Од. нов.» заявили, что моя политика — «скверная политика», и поучали

меня: «революция это нечто более сложное, чем думает Бунин». «Южный рабочий» слагал по моему адресу такие милые стишки:

Испуган ты и с похвалой сумбурной
Согнулся вдруг холопски пред Варягом, —

и никому из этих грубиянов, очевидно, и в голову не приходило, что просьба к Вильсону о вмешательстве в русский разбой над евреями совершенно одно и то же, что просьба к французам о вмешательстве в русский разбой над помещиками, над купцами, над офицерством, над интеллигенцией, и что ведь это очень неверный путь — отделываться рассуждениями о «сложности» того или иного зверства. То же самое встречаю я и теперь. Сколько, например, исписал бумаги какой-нибудь Павел Юшкевич, подсчитывая убиенных при погромах евреев, сколько этих уголовных дел зарегистрировал он, сколько сказал жестоких слов о зверстве русского народа, когда он громил евреев! А посмотрите, как наряду с этим издается он надо мной по поводу моей лекции о русском народе и русской революции, как горячо заступает за этот же самый народ, как распекает, как поучает меня. «Суждения Бунина сухие, желчные» — для этих господ вся сложность, вся острота наших великих мук есть только желчь! «К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилom и пониманием *уголовного хроникера...*» «Гегель говорил о разумности всего действительного... в российской революции есть свой разум, свой смысл» — и так далее, и так далее. О, многомудрый гегельянец, ведь и самое жестокое самодержавие и чума и холера могут чудесно уложиться в Гегеле; утверждая, что есть разум и смысл в дроблении помещичьих, купеческих, офицерских черепов, можно, следуя логике, дойти до Бог знает каких выводов...

Право, «стройные ряды революционного демоса» немногим отличаются от прочих «стройных рядов». Знаю я эти «стройные ряды». Помню, как осенью семнадцатого года мужики, разгромившие одну елецкую усадьбу, ошипали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало....

Ив. Бунин

<12 ноября 1919, Одесса>

Был, и слава Богу, еще есть, не убит, не замучен, не умер от разрыва сердца, от скорби, от боли за свою родину и от стыда быть человеком талантливый и умный писатель, то есть писатель редкий, ибо талант и ум вещи вообще редкие, писатель, не погубивший ни своего ума, ни своего таланта среди всяческой мерзости, которая так пышно цвела в русской литературе за последние десятилетия, — Ив. Ф. Наживин.

Был и есть он крестьянин по рождению, прошел все, что полагается пройти, чтобы стать на уровне своего времени в смысле образования и развития, жил долго в Европе, был и толстовцем и левым, возвратился затем на родину, прожил целых два года в революции в среде своих кровных односельчан и той интеллигенции, к которой он принадлежал по умственным и духовным интересам, много видел, много страдал, много думал и многое переоценил за это время, и подвел некий итог всего этого, — написал замечательную книжку «Что же нам делать?», драгоценную по своей искренности, по своему таланту и, главное, по документальности, по наблюдению и изображению той подлинной, а не выдуманной русской жизни, чувства, ощущения, да даже и простого знания которой так недоставало нам всегда и, что всего ужаснее, так недостает и теперь.

И вот этого человека за эту книжку начинают зло, грубо, самым непристойным образом травить.

По какой причине?

А по той простой причине, что он посмел сказать кое-что не так, как это полагается по канону левых.

Можно было бы, кажется, просто возразить человеку: «Ты, по нашему мнению, ошибаешься, ты не прав вот потому-то и потому-то».

Можно было бы даже сильнее выразиться: «Ты говоришь вот то-то и то-то нехорошо», — если человек точно заслужил того.

Но начать глумиться над этим выдающимся русским человеком и писателем, начать всячески поносить его по левогазетному шаблону, называть его душу «лысой душой» — не пойму, в чем соль этой дурацкой выдумки! «маленькой, сморщенной душой, опустошенной душой напуганного и кающегося интеллигента», — точно и впрямь нечего нам было пугаться среди всех адовых зверств и мерзостей нашей революции и так-таки решительно не в чем каяться! — говорить, что он «льет демократические слезы в жилет городского в трепетной лирике полицейского участка», что

он «человек легкий, ибо в толстовцах служил», и вновь и вновь повторять, что у него «запуганная, сморщенная и воистину лысая душа», и всячески допекать его тем, что он несколько раз переменял свои убеждения, свои взгляды, — хотя позора тут нет решительно никакого, ибо этому были, как известно, подвержены многие великие и величайшие люди, ибо только дураки и тупицы, по слову Толстого, ко-стенеют, не меняются, не растут с годами и с опытом, — и безбожно врать на него, на каждом шагу искажая его книжку, — поступать, одним словом, так, как поступил с Наживиным в позавчерашнем номере «Современного слова» Василевский (Не-Буква), и величать Наживина «этим господином», как величает его Б. Мирский во вчерашнем номере того же «Современного слова» в статейке, уже во второй раз повторяющей угрозу не пустить нас в Москву, если мы не скажем пароль, требуемый от нас Б. Мирским, — все это есть величайшая грубость по отношению ко всей современной русской литературе, и я, не последний человек в этой литературе, решительно протестую против всего этого и надеюсь, что мои чувства разделят многие из моих со-товарищей по перу, равно как и редактор «Современного слова», известный русский писатель Д.Н. Овсянико-Кули-ковский.

Повторяю: можно соглашаться или не соглашаться с Наживиным, можно спорить с ним, опровергать его, сожалеть, что он больше не социалист, не революционер, а конституционный монархист, как он стал теперь открыто называть себя, можно пожать плечами, что он полагает, что следует объявить евреев иностранными подданными, — если только точно, что он полагает это, — но так непристойно травить его, как начало «Современное слово», кидаться с такой яростью затыкать рот большому русскому человеку и писателю, — не допустимо, не позволительно и уж во всяком случае «не либерально».

Бог мой, что же это такое в самом деле? Уж и слова не смей пикнуть теперь! Нельзя же уж так мордовать Фому у него же в дому! Ну, думает Наживин, что его дому, насколько он знает и чувствует его, пристала конституционная монархия больше, чем социалистическая республика, — что за повесная беда такая? Ну, ходил он по московским соборам, где перед ним «развертывалась вся наша история», где ему «перед лампадкой на гробнице Грозного царя мнилось, что это душа России теплится под старыми сводами», где он так кровно почувствовал прошлое нашего старого, пусть мрачного, пусть темного, но родного дома, — неужели это уж такое страшное преступление и неужели эти чувства так не-сложны и укладываются так по-дурацки во формулу «влече-

ние к Грозному», как это кажется «Современному слову»? Пусть этот дом наш общий, и все нации России равноправны в нем: есть же все-таки в его прошлом нечто такое, что все-таки действует сильнее на прямых потомков его строителей, чем на человека другой национальности. Нам ли, например, не близок Иерусалим, — нам, из поколения в поколение, с младенчества начинающим познавать его историю и молиться его — Богу? И все-таки, помню, как робко, как благоговейно опустил я глаза при входе в Иерусалим вместе со стариком Шором, остановившимся и долго, горячо, закрывшись рукавом, плакавшим у этого входа.

Ив. Бунин

<12 ноября 1919, Одесса>

«ИЗ «ВЕЛИКОГО ДУРМАНА»

...Случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но что должно было случиться, повторилось уже не раз бывалое, только в небывалых еще размерах.

Первого мая текущего года, в Москве, в так называемой «советской» России, достигшей к этому времени <.....>*

.....>* первый номер «Коммунистического интернационала». На обложке красуется, конечно, обычный лубок, самым площадным образом наляпанный земной шар, весь опутанный железными цепями, и фигура яростно размахнувшегося на эти цепи молотом рабочего, конечно, голого, конечно, только в кожаном переднике, конечно, с геркулесовскими мускулами, — а в тексте можно прочесть потрясающее по своему бесстыдству заявление Горького «пролетариату всего мира», что Россия «творит ныне великое, планетарное дело», а во-вторых, такие душу раздирающие своей грубостью строки:

— «Цари и попы, старые владыки Кремля, никогда, надо полагать, не предчувствовали, что в его седых стенах соберутся представители самой революционной части современного человечества. И, однако, это случилось, крот истории недурно рыл под Кремлевской стеной».

Строки эти принадлежат одному из главнейших представителей «рабоче-крестьянской власти», царствующей в Кремле, — о, Бог мой, эта власть — какая это стократная нелепость, какой архииздевательский хохот над «одурманенной, черту душу продавший Россией!» — строки при-

* Пропуск строки в подлиннике. (Прим. сост.)

надлежат Троцкому и звучат, как видите, очень уверенно. Однако, только в одном прав Троцкий: подлый зверь, слепой, но хитрый и когтистый крот в самом деле недурно рылся под Кремль, благо почва под ним еще рыхлая, — в остальном Троцкий ошибается. Старые владыки Кремля, его законные хозяева, его кровные отцы и дети, строители и держатели русской земли, в гробах перевернулись бы, если бы слышали Троцкого и знали, что сделали над русской землей его сообщники; несказанна была бы их боль при виде того, что совершается в стенах и за стенами Кремля, где, по развеселому восклицанию одного нынешнего московского поэта,

Из опрокинутой лоханки, —
Как вода в бане,
Кровь, кровь хлещет,

невыразимый ужас охватил бы этих царей и «попов» при виде того гигантского кровавого балагана, в который превращена Россия, но думаю все-таки, что предчувствовать всяческие новые беды и позорища, которые еще много раз могут поразить их несчастную родину, они не только могли, но и должны были. Они знали и помнили о страшных и многократно повторявшихся на Руси днях всяческих смут, усобиц, «свар», «нелепиц», когда, по слову летописца, — как будто о наших днях говорящего, — когда «земля сеялась и росла усобицами», когда «редко звучал голос земледельца, но часто каркали вороны, деля меж собой трупы, ибо сказал брат брату: это мое, а это мое же, а поганые со всех сторон приходили на них с победами, и стонал тугою Киев, а Чернигов напастями...». Цари и «попы» многое могли предчувствовать, зная и помня летописи русской земли, зная переменчивое сердце и шаткий разум своего народа, его и слезливость и «свирепство», его необозримые степи, непроходимые леса, непролазные болота, его исторические судьбы, его соседей, «жадных, лукавых, немилостивых», и его «младость» перед ними, его всяческую глушь и дичь и его роковую особенность: кругами совершать свое движение вперед, — знали, словом, все то, от напасти чего все-таки спасали его «цари и попы», подвижники и святители московские, радонежские, саровские, соловецкие, — все то, что заставило Грозного воскликнуть: «аз есмь зверь, но над зверьми и царствую!» — все то, что еще слишком мало изменилось до наших дней, да и не могло измениться по щучьему веленью при всех этих степях, лесах, топях и за такой короткий срок, который насчитывается настоящей русской государственности.

«Цари и попы!» Вот мы так действительно не предчувствовали долженствующего случиться. А случился, опять случился именно тот Пушкинский бунт, «жестокий и бессмысленный», о котором только теперь вспомнили, повторилось уже бывалое, хотя многие и до сих пор еще не понимают этого, сбитые с толку новым и вульгарно-нелепым словом «большевизм», мыслят совершившееся как что-то еще невиданное, в прошлом имеющее только подобие, чувствуют его как нечто такое, что связано с изменяющейся будто бы мировой психикой, с движениями того самого европейского пролетариата, который несет будто бы в мир новую прекрасную религию величайшей гуманности и в то же самое время требует «невмешательства» в непрерывное и гнуснейшее злодеяние, которое творится среди бела дня в двадцатом веке, в христианской Европе.

История повторяется, но нигде, кажется, не повторяется она так, как у нас, и не Бог весть сколько оснований дала ее азбука для розовых надежд. Но мы эту азбуку сознательно и бессознательно запамятовали.

Один орловский мужик сказал мне два года тому назад удивительные слова:

— Мы, батюшка, не можем себе волю дать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смиренный. Я хорош, добер, пока мне воли не дашь. А то я первым разбойником, первым грабителем, первым вором, первым пьяницей окажусь...

Что это, как не первая страница нашей истории? «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет... растащите нас, а то мы перегрызем друг другу горло... усмирите нас — мы слишком жестоки при всем нашем прекраснодушии и малодушии... введите нас в оглобли сохи и принудьте нас пролагать борозды, ибо иначе наша богатейшая в мире земля зарастет чертополохом, ибо мы зоологической трудоспособности... словом, придите и владейте нами, в нас все зыбкость, все чересполосица... мы и жадны — и нерадивы, способны и на прекрасное, на высокое — и на самое подлое, низменное, обладаем и дьявольской недоверчивостью — и можем быть опутаны нелепейшей, грубейшей ложью, заведены в какую угодно трясины с невероятной легкостью...» Вот наше начало, а дальше что? А дальше Васька Буслаев, горько на старости кающийся, что уж слишком было много смолоду «бито и граблено»... А дальше «великие российские революции»: удельные вековые смуты, московские вековые смуты, лже-вожди, лже-цари из последних ярыг и бродяг, перед которыми при исступленных криках радости и колоколь-

ОТРЫВОКЪ

Начало новой жизни...

Но где остановиться мнѣ по пути къ своему началу?

Изъ чего и какъ составлялось то, что называется моей земной жизнью, моими воспоминаниями?

Развѣ мнѣ не кажется теперь, что я помню чуть не сотвореніе міра?

Вѣдь какъ только я узнала изъ книжки какого-то протоіерея Рудакова, что была некогда «рай или прекрасный садъ», и увиделъ на картинкѣ «древо познания добра и зла», съ котораго колыханомъ свисаетъ на длинно-волосую, нагую Еву Искуситель, я тотчасъ же вообразила, почувствовала да такъ и осталась на весь вѣкъ съ чувствомъ, что и я была въ этотъ «прекрасный» садъ.

Вѣдь еще въ самые первые дни моей входило въ мою жизнь, какъ нѣчто будто бы мной самимъ пережитое то жертвоприношеніе Авраама, то бѣгство Іосифа въ Египетъ, такъ что уже и въ ту пору не было у меня вѣри, что я являюсь въ какой-то тамбовской хаткѣ.

~~Вспоминанія~~

За свою все таки уже долгую жизнь съ ея думаньями, чтеніемъ, странствіями и мечтами я такъ привыкла къ мыслямъ и къ ощущеніямъ, будто я знаю и представляю себѣ огромныя пространства мѣста и времени, столько жить въ воображеніи чужими и далекими жизнями, что мнѣ кажется, будто я была всегда, во вѣки вѣковъ и вездѣ. А гдѣ грань между моей дѣйствительностью и моимъ воображеніемъ, которое есть вѣдь тоже дѣйствительность, нѣчто несомнѣнно существующее?

Очень страшно кромя того всплываютъ это начало въ мой мозгъ проясля-

скай день, глядя въ раскрытое окно на пальмы, на оливки, на огромную голубую долину за ними, на Средиземное море, на сияющіе въ солнечномъ дымѣ хребты Эстереля!

Полька тому назала...

Тамбовскіе поля, старый бревенчатый домъ подъ соломенной крышей, сизой отъ времени, запущенный садъ съ малинниками, заросши травой дворъ съ какими-то каменными корытами посрединѣ, верста, конюшни, лютская изба, къ задней стѣнѣ которой вплотную подступаютъ хлѣба...

Лицо всей земли смѣнилось съ тѣхъ поръ, а не только та поляна, крестьянская Русь, что была моей колыбелью.

Тысячелѣтіе протекало съ тѣхъ поръ для меня.

«Родиться, жить и умереть въ одномъ и томъ же, въ родномъ домѣ...» А я — сколько домовъ пережила и на сколько вѣку?

И эта чужая страна, уже много лѣтъ замѣняющая мнѣ родину, послѣднее ли мое пристѣжище?

Огромная возмставшая долина идетъ, все повышаясь, отъ моря къ альпійскимъ предгорьямъ и незаметно переходитъ въ нихъ, въ ихъ первые холмы.

На одномъ изъ этихъ холмовъ громоздится вокругъ остатковъ своей древней крѣпости съ романскими соборами и величавой въ своей грубости сарацинской башней нѣчто не менѣе грубое, нѣчто строгое, уступчатое крѣпко слитое въ единое, словно изъ одной скалы вытѣченное, подъ морской рыжей черепицей, испещренной пятнами черноты.

Видно, вокругъ, на всѣхъ окрестныхъ

Запечатано

Наказано "Жизни Арсена"

ных звонах окарачь ползли и над растерзанными трупами которых так иступленно и гадко измывались потом... Дальше несметные украинские побоища и зверства, кровавый хам Разин, которого буквально боготворили целые поколения русской интеллигенции, страстно жаждавшей его второго пришествия, той заветной поры, «как проснется народ...». Дальше, говорю, все то же: шатание умов и сердец из стороны в сторону, саморазорение, самоистребление, разбои, пожарища, разливанное море разбитых кабаков, в зельи которых ошалевшие люди буквально тонули порой, «захлебываясь до смерти», а наутро — тяжелое похмелье и приступы лютой чувствительности, слезы покаяния перед святынями, вчера поруганными, «поклоны» перед Красным Крыльцом отрубленными головами лже-царей и лже-атаманов, — помни, помни это, «самая революционная часть человечества», засевшая в Кремль!

Вот невольно, только что пережив и еще не изжив все то, что творилось вчера и творится еще и нынче на Украине, в колыбели славянской души, невольно вспоминаешь Хмельницкого и его сподвижников: что это было? А вот прочтите по складам: «Холопы собирались в шайки, дотла разрушали гнезда и богатых, и бедных, уничтожали целые селения, грабили, жгли, резали, надругались над убитыми и посаженными на кол, сдирали с живых кожу, распиливали их пополам, жарили на углях, обливали кипятком, самое же ужасное остервенение выказывали к иудеям: на свитках торы плясали и пили водку, вырывали у младенцев внутренности и, показывая кишки родителям, с хохотом спрашивали: — Жид, это трэфное?» — Вот что было. Мы же сваливали все погромы только на царя, да на его «сатрапов и приспешников». А сам Хмельницкий? «Он то постился и молился, то без просыпу пил, то рыдал на коленях перед образом, то пел думы собственного сочинения, то был очень слезлив, покорен, то вдруг делался дик и надменен...» А сколько раз менял он свои «ориентации», сколько раз нарушал клятвы и целование креста, с кем только не соединялся!

Вот Емелька и Стенька, мятежи которых, слава Богу, даже уже начали ставить в параллель с тем, что совершается, все еще не осмеливаясь, однако, делать из этого должных выводов. Снова разверните и прочтите читанное в свое время, может быть, невнимательно: «Стенькин мятеж охватил всю Россию... поднялось все язычество», — да, да, пусть не бахвалятся Троцкие и Горькие своей «красной» Башкирией, это «планетарное дело» уже было,

было и до «третьего интернационала!» — поднялись зыряне, мордва, чувашаи, черемисы, башкиры, которые резались и бунтовали, сами не зная, за что бунтуют они. По всему московскому государству, вплоть до Белого моря, шли «прелестные письма Стеньки, в которых он заявил, что идет истреблять бояр, дворян и приказных, всякое чиновначалие и власть, учинить полное равенство...». Все взятые Стенькой города обращались в «казачество», все имущество этих городов «дуванилось» между казаками Стеньки, а сам Стенька каждый день был пьян и обрекал на смерть всякого, кто имел несчастье не угодить «народу»: «тех резали, тех топили, иным рубили руки и ноги, пуская потом ползти и истекать кровью, неистовствовали над девственницами, ели, подражая Стеньке, мясо в постные дни и силою принуждали к тому всех прочих...». А сам Стенька «был человек своенравный и непостоянный, то мрачный и суровый, то бешеный, некогда ходивший пешком на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, а потом отвергший посты, таинства, осквернявший церкви, убивавший собственноручно священников... Жестокий и кровожадный, он возненавидел законы, общество, религию, — все, что стесняет личное побуждение... сострадание, честь, великодушие были не знакомы ему, мстью и завистью было проникнуто все существо его...». А все «воинство» Стеньки состояло из беглых, воров, лентяев, — всей той голытьбы, которая называла себя казачеством, хотя природные казаки Дона не терпели их, называли их «казаками воровскими». И всей этой сволочи и черни, которую уловлял Стенька в свои сети посулами, он обещал во всем полнейшую волю и полное с собой равенство, а на деле забрал ее всю в полную кабалу, в полное рабство: «малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...». Бог мой, какое разительное сходство с теперешним разбоем, чинимым во имя будто бы «третьего интернационала» хотя, конечно, Стенькина власть была все-таки в тысячу раз естественнее нынешней «рабоче-крестьянской власти», самой противоестественной и самой нелепой «нелепицы» русской истории, хотя, конечно, «правительство» Стеньки, — все эти Васька Ус, Федька Шелудяк, Алешка Каторжный, — было все-таки во сто раз лучше нынешнего «рабоче-крестьянского правительства», засевающего в Кремль и в отель «Метрополь»!

Ив. Бунин

<7 декабря 1919, Одесса>

СУП ИЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПАЛЬЦЕВ

Открытое письмо к редактору газеты «Таймс»

Ив. А. Бунина

Господин редактор, до сведения моего дошло, что русский писатель Горький обратился к английскому писателю Уэллсу с престранным письмом — о супе из человеческих пальцев. Он пишет:

«— Дорогой Уэллс! Газета «Таймс» напечатала рассказ англичанина, вернувшегося из России и сообщающего, что в одной из коммунальных столовых Петербурга он ел суп, где плавали человеческие пальцы. Если бы эта мрачная глупость была напечатана в уличном листке, цель которого дать пищу дурным инстинктам толпы, я не обратил бы внимания на дикую выходку человека, видимо, раздраженного и, должно быть, неумного, но тут нахожу необходимым известить вас, что рассказчик солгал. Поверьте, дорогой Уэллс, мы, русские, все-таки еще не дошли до каннибализма и, уверен, не дойдем, несмотря на то, что высококультурные государства Запада весьма озабочены созданием для России таких условий, которые помогли бы скорейшему и окончательному одичанию и вырождению русского народа. — Мы живем в такие дни, когда самое разнузданное и злое воображение не может создать ложь и клевету, которые были бы страшнее правды, и одной из таких отвратительных правд является травля России, страны, напрягающей всю свою волю и творчество социального опыта общечеловеческого значения. — Следовало бы предоставить нас нашему разуму или нашему безумию, то и другое поучительно было бы для Европы. Но Европа стремится задушить нас. Не думаю, чтобы это удалось ей, но возможно, что ее политика толкнет нас в сторону Азии. Не предвидите ли вы в этом страшную угрозу культуре Европы? — Поверьте, дорогой Уэллс, я не закрываю глаза на отрицательные явления, но я вижу, как в русской массе пробуждается воля к творчеству. А для меня актуализм — начало всех начал, ибо в начале было деяние!»

Господин редактор, вы, конечно, согласитесь со мной, что письмо это поистине замечательно, как, впрочем, и все, что исходит из горьковской России, где, очевидно, и в помине нет ни «мрачных глупостей» ни «уличных листов», ни «пищи для дурных инстинктов толпы», ни «диких выходок», где заборный язык, упрощенный заборным правописанием, так смел и точен: «солгал», «буржуазная сволочь», «шкурник», «прихлебатель капитализма», и так далее. Какая в каждой строке этого письма серьезность, ши-

рота взглядов, просвещенность! — «Важен только актуализм... В начале всех начал было деяние...» И вообще все так веско, внушительно, сурово и в то же время снисходительно, звучит то басом угрозы, то октавой нежности, — «поверьте, дорогой Уэллс!» — то скромным напоминанием о своей мощи — «не думаю, чтобы Европе удалось задушить нас, не забывайте об Азии!» — то мудрой объективностью: «Я не закрываю глаза на отрицательные явления...» А главное — какое утешение всему человечеству! В русских супах *еще* не плавают человеческие пальцы, «мы, русские *еще* не дошли до каннибализма и, я уверен, не дойдем до него!» Но позвольте, г. редактор, заявить на страницах вашей уважаемой газеты, что мне, тоже русскому писателю, и Божьей милостью не последнему сыну своей родины, не менее Горького знающему и любящему ее, письмо это *все-таки* не импонирует и делает некоторую крупную неловкость перед «дорогим Уэллсом».

— «Мой бледнолицый брат есть лжец!» — страстно воскликнул один людоед в лицо миссионеру: — «мой бледнолицый брат утверждает, что мы съели его слугу, зажарив его на огне, меж тем, как мы еще не умеем жарить тех, кого едим!»

Согласитесь, г. редактор, что письмо Горького весьма напоминает благородное негодование этого людоеда. Хуже же всего то, что Горький совсем не убедил меня: я *все-таки* сомневаюсь, что в горьковской России «еще не умеют жарить тех, кого едят», по следующим двум причинам: во-первых, потому, что вообще людоедство не такой уж древний факт, — ели же русские люди друг друга, например, при Борисе Годунове: «боялись пускаться в путь, чая быть в пути зарезанными и съеденными», — а во-вторых, в силу того, что, увы, уже *не впервые* появляются в европейских газетах те «мрачные глупости», в одной из коих с таким наивно-мрачным торжеством уличает Горький английскую газету: я уже не раз читал и слышал, будто китайцы торгуют в Петербурге человеческим мясом, конечно, еще из-под полы, но торгуют, и не вижу здесь ничего невероятного, ибо соратники Горького, воцарившиеся в России *«исключительно по нашей милости»*, как недавно дословно заявил немец Людендорф, загнали Россию куда дальше времен Годунова, ибо факт неописуемого, чисто пещерного голода, истребляющего Россию уже целых три года, все-таки ни для кого в мире не подлежит сомнению.

Повторяю: мне, г. редактор, весьма неловко перед «дорогим Уэллсом». Конечно, он любитель всего фантастического и странного, но вы все-таки, надеюсь, понимаете, что я хочу сказать. Допустим, хочу я сказать, что все эти

слухи о людоедстве только «травля России» со стороны «буржуазных хищников», стремящихся Россию «задушить», в то время, как соратники Горького так горячо пекутся о ней и любят «травить» только русских «буржуев», русских интеллигентов, русских мужиков и рабочих, не приемлющих коммунизма, русских священнослужителей, русских помещиков, русских домовладельцев и вообще всяких «контрреволюционеров и саботажников», убивая их десятками тысяч и всячески зверствуя над ними в «чрезвычайках», ничуть не брезгуя в этом случае «давать пищу дурным инстинктам толпы» и делом и словом, уже давно низведенным в России до скотского, утробного рева: «смерть, смерть ему!» Допустим, говорю, вздорность слухов о пальцах и китайцах: как, тем не менее, нравятся вам эти горьковские «еще» и «все-таки»? И вообще, г. редактор, человек двадцатого века, гражданин культурного, христианского мира, подумайте только, до чего мы дошли! К дикому изумлению самого Сатаны оказалась вдруг в этом веке и в этом мире страна, «напрягающая всю свою волю на творчество социального опыта» — и уже давшая, благодаря этому «опыту», возможность, — пусть даже только возможность! — совершенно серьезно и перед лицом всего цивилизованного человечества спорить: — «едят или еще не едят в этой стране суп из пальцев ближнего своего?» — и тем дать повод скептикам качать головою: ох, мол, дыма без огня не бывает! К позору всего этого человечества, известный русский писатель совершенно серьезно принужден доказывать, что на пространстве большевистского опытного поля, именуемого советской Россией, люди «все-таки еще не дошли» до пожирания себе подобных!

Но еще крепче, повторяю я, г. редактор, самое главное, самое страшное: да, да, мы прочие русские писатели, тщетно кричавшие всему христианскому миру устами покойного Андреева: «спасите наши души!» — мы, погибающие в эмиграции, в несказанной муке за Россию, превращенную в необъятное Лобное Место, каменеющие в столбняке перед всем тем, чем горьковская Россия ужаснула и опозорила все человечество, мы, бежавшие из этой прекрасной страны, не будучи в силах вынести вида ее крови, грязи, лжи, хамства, низости, не желая бесплодно погибнуть от лап русской черни, подонков русского народа, поднятых на неслыханные злодейства и мерзости соратниками Горького, мы, трижды несчастные, с ужасом принуждены свидетельствовать, что совсем, совсем не так твердо уверены в том, в чем будто бы так уверен Горький. Мы не уверены, невзирая на все его послания к Уэллсам, что и впрямь стали пламенными борцами за Интернационал мужики из

Чухломы и все те черемисы, чувашаи, зыряне, в лесах которых всего каких-нибудь тридцать лет тому назад были обнаружены человеческие жертвоприношения. Мы не уверены, что русское «деяние», оно же было началом всех начал, еще не дошло до супа с человеческими пальцами, не говоря уже о том, что каннибальство не всегда же заключается только в самом подлинном людоедстве: ибо разве не злейшее каннибальство этот трехлетний «опыт» над страной, каннибальски алчущей и жаждущей, замерзающей во тьме и снегах, донага раздетой и разутой, заедаемой вшами, под пятой свирепейших в мире деспотов? Разве не сверхканнибальство — пять бесстыднейших гимнов этому опыту, соловьем заливаясь о всяческих культурах, о русской литературе и науке — в то время как Россия по горло потонула в крови и всяческих нечистотах, и моральных и физических, и почти вся русская интеллигенция перебита в «чрезвычайках», раздавлена морально и физически, поколела с голоду, разбежалась куда глаза глядят... в то время, когда новые «советские» писатели, эти поистине сказочные сверхнегодяи, пишут, обращаясь к Богоматери, так:

— Ах, зачем ты не сделала аборт!

Когда несметные покойники России по месяцу ждут очереди быть похороненными без гроба и нагими или пожираются собаками в полях, там, где их сразил тиф или пуля, когда, по свидетельству прошлогоднего Пироговского съезда врачей (в Харькове), количество психически больных в России растет с неописуемой быстротой и *«целым будущим поколениям России грозит маразм и вырождение»!*

Ах, господин редактор, довольно было бы с нас, русских, хотя бы и того, что вот дожили мы до таких дней, когда, по совершенно справедливому замечанию Горького, «самое разнузданное и злое воображение уже не может создать ничего постыднее и страшнее действительности», и пальма первенства в создании такого положения по самому полному праву принадлежит именно горьковской, «советской» России, ныне возглавляемой теми людьми, род которых будет проклинаяем Россией будущей до семьдесят седьмого колена, как бы ни прикидывались иные из них «борцами за светлое будущее», какие бы бриллианты ни посылали они с Каменевым в Англию и что бы ни писали они «дорогому Уэллсу»! Довольно было бы, говорю, и одного этого. Но поистине чаша скорби нашей и стыда нашего переполнена до безмерности: нет, нас Горький не убедил, невзирая на все свое негодование по адресу тех, кои «помогают скорейшему и окончательному вырождению и одичанию русского народа», на всю трогательную мольбу к Уэллсу еще немножко «предоставить нас нашему безу-

мию» для «поучения Европы» и на всю запоздалую угрозу стать архиазиатом!

Ив. Бунин

Париж, 25 сентября 1920 г.

КРАСНЫЙ ГИМН

Это рассказал один русский офицер, побывавший в свое время в плену у Петлюры.

— Я сидел, говорит он, в тюрьме петлюровской контрразведки в Жмеринке, когда привели к нам, в одну прекрасную ночь, трех матросов, трех «борцов с империализмом, капитализмом и контрреволюцией», то есть служивших в таращанском красноармейском полку, а после отступления большевиков оставшихся на Украине и только что попавшихся на зверском убийстве и ограблении какого-то «буржуазного хищника» из чистокровных украинцев.

Все трое были ребята рослые, широкогрудые, точно битьюги, с валкой, но крепкой походкой, с теми бычьими шеями, на которых, по народному выражению, хоть дуги гни, так что матросы даже сутулились слегка, в наклон держали головы. Один, самый дюжий, носил на груди георгиевский крест третьей степени, а на фуражке — белую кокарду из черепа и скрещенных под ним костей. Он особенно нагло и зловеще блестел маленькими черными глазами, широко разделенными совершенно гладким, плоским переносьем. Но хороши были и прочие.

Все трое сразу повели себя вызывающе, надменно, с какой-то беззаботно-хамской удалью и сразу стали первыми людьми в нашей камере, полными хозяевами ее. Да это было и понятно: помимо всепобеждающей наглости и каиновых печатей на лицах этих «интернационалистов», была у всех у них уйма денег, — откуда-то из штанов они то и дело вытягивали целые пачки самых разнообразных кредиток.

Привели их поздно ночью, а утром они уже поразили всю камеру самым широким размахом в тратах. И вот тут-то я и услышал впервые этот «красный гимн».

Едва проснувшись, матросы тотчас же отправили свободного караульного солдата за «самогоном», за папиросами, за мясными и яблочными пирожками и за «колотухой», жирной простоквашей из прокипяченного докрасна молока. А напившись, наевшись, накурившись до отвала, икая от плотной сытости, они растянулись на нарах и начали иг-

рать в карты на разостланном полушубке из белой овчины, явно содранном с чьих-то офицерских плеч. А наигравшись, двое лениво бросили карты и, уткнувшись лицами в овчину, задремали; третий же, тот самый, у которого было такое плоское переносье, лежа навзничь и кренделем загнув правую ногу на высоко подставленное левое колено, медленно тасуя и перетасовывая белыми от безделья руками разбухшую, атласную от грязи колоду, меланхолично заныл тусклым, сиповатым фальцетом:

— Наберу я товарищей смелых
И разграблю я сто городов,
Раздобуду казны, самоцветов —
И отдам его все за любовь...

И потому, что пелось это таким равнодушным, таким тупо-угрюмым голосом, становилось на душе тяжело, тоскливо, нудно. А матрос, все так же тошно и заунывно, все рисовал и рисовал счастье любви, какое он может дать:

— Как картинку тебя разукрашу
И куплю золотую кровать...

Мне вспомнились золоченые гербовые орлы, которые с таким остервенением сдирались по всей России с дворцов, присутственных мест в приснопамятном марте семнадцатого года... Вспомнились дворцовые залы с золочеными карнизами, полные грязи, дыма, солдат, рабочих, жадно щелкающих семечки и внимающих с острыми глазами все как будто одной и той же лохматой фигуре, махающей короткими руками на эстраде вдалеке, среди мраморных колонн... Вспомнилась голая, как сарай, затоптанная, заплеванная зала, служившая для одной из виденных мной «чрезвычайек», где «чекисты» заседали на золоченых стульях, — недаром же золото считается символом могущества и власти! — и один за другим подмахивали смертные приговоры «в порядке проведения в жизнь красного террора»... Потом представилась мне эта «золотая» матросская кровать с лежащей на ней матросской Аспазией... А матрос, кончая песню, натужно заносил вверх мрачно окрепшим голосом:

Если ж ты мне, мой ангел, изменишь,
Будет мечь моя зла и страшна,
И весь мир от меня содрогнется,
Ужаснется и сам сатана....

И вдруг, точно сорвавшись с тугой, опостылевшей привязи, залихватски, ухарски, необыкновенно гладкой, скользкой, сверкающей скороговоркой взвился:

Э-эх, жил бы да был бы,
Пил бы да ел бы,
Не работал никогда!
Жрал бы,
Играл бы,
Был бы весел завсегда!

И все это так ярко, так легко и откровенно, с такой полнотой и убежденностью вырвалось у него из груди, что я так и подскочил: — «Вот он, вот, подлинный, настоящий красный гимн! Не марсельеза там какая-то, не интернационал, вовсе нет, а именно она, эта изумительная, ошеломляющая своим ритмом и своей жаждой «пить да жрать» частушка! Тут для этого «борца за коммунизм» весь закон и все пророки!»

А матрос, развратно вихляя голосом, весь охваченный сладостью своей заветной мечты, упиваясь и темпом и смыслом своего «гимна», все катил и катил на все лады:

— Пил бы да ел бы,
Не работал никогда!
Жрал бы,
Играл бы,
Был бы весел завсегда!

Ив. Бунин

<24 октября 1920, Париж>

«ПРЕСЛОВУТАЯ СВИНЬЯ»

Просматриваю «красные газеты», случайно попавшие в Париж через Гельсингфорс.

О, Бог мой, — помимо всех несметных зверств, убийств, низостей, растления всех основ мало-мальски пристойного и одухотворенного человеческого существования, какая еще бездна ужасающей пошлости, лубочной смехотворности и нестерпимой, адовой скуки во всем этом «красном»!

Пересмотрел клочки дневника, который я воровски вел в прошлом году в большевицкой Одессе и в котором много выписок из разных «советских» газет.

Ах, какая злая и пошлая чепуха!

«Ультиматум» Раковского Румынии — «в сорок восемь часов очистить Буковину и Бессарабию и предать суду *всех* чиновников, *всех* помещиков и *вообще* *всех* буржуев, повинных в преступлениях против народа...»

Распоряжение о выдаче «всем трудящимся» по восьмушке горохового хлеба, — в городе был ужасный голод, — и рядом воззвание: «Граждане! все к спорту!...»

Сообщение о том, что Нансен везет «десятки тысяч пудов хлеба в Великороссию, «где, благодаря Антанте, ежемесячно умирают с голоду и от болезней сотни тысяч», и рядом стишки «Абрашки-Гармониста»:

— «Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепугу на стульчак...»

Бесконечные телеграммы о «перевороте» в Афганистане, о революции в Турции, о революции в Испании, о революции в Египте, о революции в Сербии, о том, что «Клемансо в панике», что «Париж весь в баррикадах», что «рыбаки, прибывшие на шаланде из Вилкова, передают о поголовном восстании *всех жителей по Дунаю...*», «Манифест Временного Бессарабского Рабоче-Крестьянского Правительства...». Болгарский коммунист Касанов «объявил войну Франции» — «смерть всем французским империалистам и издыхающей болгарский буржуазии!...»

Громова статья о необходимости измерить «все комнаты во всех одесских буржуазных домах — в длину, в ширину и высоту...».

«Декрет об изъятии у буржуазии *всех матрасов...*» Объявление войны «империалистической Венгрии...» «Мировая свора буржуазной сволочи напрягает последние усилия...»

Известия из Москвы: «Разгрузка дров на всех железных дорогах упала на восемьдесят процентов... Нардком решил реставрировать *все* памятники искусства... *Вся* Индия охвачена революционным пожаром... Румынские разбойники схватили за горло молодую советскую Венгрию... Румынские живоглоты и их прихвостни французы...»

Резолюция красноармейцев г. Вознесенска: «мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение *всего* мира, клянемся до последней капли крови...»

Объявление вне закона знаменитого завоевателя Одессы, Григорьева: «Грязный, подлый, вечно пьяный наемник Антанты Григорьев ударил в спину борцам за свободу крестьян и рабочих... Белогвардейская сволочь, соединившаяся с этим подлым предателем социалистической родины, должна быть уничтожена, как бешеная собака... Григорьев окружил себя петлюровскими офицерами *с засаленными рожками, вздумал купаться в рабочей крови*, объявил себя гетманом и пускает глупые провокации, сочиненные в пьяном виде, о распятии Христа коммунистами, хотя всякий трудящийся должен знать, что не дело коммунистов распинать Христа, восставшего против буржуазии, и что *все* предатели и *сутенеры* должны быть изловлены и преданы в руки рабочих и крестьян...»

А дальше опять громовая статья — «товарищи красноармейцы ломают и колют приклады винтовок на *растопку*

самоваров!» — а рядом наполеоновский приказ Подвойского: «Львы Красной Армии!» — это в лаптях-то и босиком! — «Львы Красной Армии! Ныне, в решительный час последней схватки с черными бандами всего мира, вы еще раз покажете всему миру...» — и опять десятки все новых и новых воззваний и приказов: «День учета всей буржуазии», «День мирного восстания», «Никаких самочинных обысков и реквизиций!», списки расстрелянных Чрезвычайкой, списки убитых «на месте» бандитов, «Мы куем новую прекрасную жизнь!», «Победа близка!», стихи о том, что Деникин хочет «*взять в свои лапы очаг*», передовицы с заголовками: «Вперед!», «На последнюю отчаянную схватку с прихвостнями Антанты!», «Прочь малодушие!», «Все к оружию!», «Социалистическое отечество в опасности!», описания торжественных похорон «борцов, павших с улыбкой на устах, под звуки Интернационала», некрологи: «ушел еще один из нас! Не стало светлого, стойкого товарища Матьяша! Гроб его утопает в цветах, у гроба — *знамена всех секций советских пекарей...*» — и вдруг совершенно неожиданное объявление: «Завтра в зале Пролеткульта грандиозный Абитуриент-Бал... После спектакля призы: 1) за маленькую изящную ножку, 2) за самые черные глаза... Хор исполнит Интернационал... Товарищ Коррадо изобразит лай собаки, *визг цыпленка*, пение соловья и других *животных* вплоть до *пресловутой свиньи...* Киоски в стиле модерн, сбор в пользу безработных спекулянтов, *губки и ножки целовать в закрытом киоске*, красный кабачок, *шалости электричества*, котильон и серпантин, два оркестра советской музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разъезд в шесть часов по *старому* времени, хозяйка — супруга командующего Третьей Советской Армией Мария Яковлевна Худякова...» (Клянусь честью, что я списываю буквально!)

Теперь передо мной петербургская «Правда» за июль и август нынешнего года.

Пересматриваю и думаю: увы, совсем даром погубленное время! Все то же, буквально все то же, что с тоской, болью, отвращением читал в восемнадцатом году в Москве, а в девятнадцатом в Одессе. Трудно представить себе более скудный и паскудный трафарет. Все тот же осточертевший жаргон, все та же яростная долбня трех-четырех мыслишек, все та же заборная грубость, все та же напыщенность самого низшего разбора, самый «высокий стиль» рядом с самой площадной бранью, все те же вопли, восклицательные знаки, аншлаги аршинными буквами, все та же превосходящая всякую меру наглость в лживости, которой пропитано буквально каждое слово, каждый призыв, каждый «лозунг», каждое сообщение, все та же разнузданная

до тошноты хвастливость, все та же видимость бешеной деятельности, все та же страшная в своей маниакальности и в своей неукротимой энергии обезьяна, остервенело, с пеной у рта катающая чурбан — и все та же гнусная и жуткая действительность, явствующая в каждой газетной строке и чуть не в каждом заголовке!

Развертываешь номер за номером и видишь: «Борьба с цингой», «Борьба с холерой», «Борьба с тифом», борьба со всяческими несметными «разрухами», «Борьба со сквернословием» — «Товарищи! пора с корнем вырвать все растущее среди нас матерное сквернословие!» — «Борьба с венерическими болезнями», «Борьба с хищениями», «Борьба с дезертирством» — «На черную доску шкурников! К стенке предателей мировой революции!» — «Облава на спекулянтов», «Облава на мешочников», «День изъятия излишков у буржуазии», «День изъятия сверхдекретных драгоценностей», «Неделя реквизиций у деревенских кулаков», «Неделя подарков бойцам западного фронта», — вы подумайте! подарков! — торжественные похороны одного «товарища», «павшего с львиным мужеством и беззаветной преданностью рабоче-крестьянскому делу», похороны другого, похороны третьего, празднество за празднеством, демонстрация за демонстрацией: — «Товарищи! Завтра народный смотр организованной мощи красного пролетариата! Все на улицу! Все под красные знамена!»

И так — из номера в номер, изо дня в день, из недели в неделю — и нет конца, нет краю этому кошмарному блудо-словью!

А передовицы! А военные репортажи!

Опять стоит взглянуть только на одни заголовки, на одни аншлаги: — «Вперед!» — «Начало конца!» — «Они хотели войны, — они получают смерть!» — «Польша будет бита!» — «От победы к победе!» — «Польша разгромлена на голову!» — «Цепной собаке империалистов Антанты нанесем сокрушительный удар! Красные штыки твердо стоят на страже мировой революции и исполнят свой долг перед III Интернационалом до конца! Гром наших орудий вселяет ужас в сердца буржуазии всего мира».

А там опять «ноты», опять воззвания, опять протесты: — «Мы шлем протест к рабочим всего мира! Поляки воскресили времена инквизиции, ознаменовали неслыханными зверствами оставление Луцка! Третий Интернационал не должен оставлять безнаказанными эти злодеяния!» — И не лопаются бесстыжие глаза и не становится колом распутный язык!

А среди всего этого, из глубины этого балагана, раздаётся от времени до времени наигранно-медлительный, то

спокойно поучающий, то сурово распекающий бас Горького. Ведь нужно же ему показать, что он, невзирая на все свои хвалы «рабоче-крестьянской» России и ее властям, «не закрывает глаза на отрицательные явления».

И вот вам на страницах этой самой «Правды» — горьковская «Беседа о труде».

— «Что такое рабочий? Это человек, который взял бесформенный кусок той или иной материи и создает вещи и орудия прекрасной формы и огромной полезности... Каждая вещь — воплощение человеческой энергии... Это неоспоримая истина. А если так, то казалось бы, что рабочие должны понимать культурное значение своего труда и то, что сокровища страны стали теперь собственностью их же... Но и до сего дня у нас все еще не понимают этого. Нам все равно, это не наше, говорит самарский дикарь, ломая в Петрограде превосходную мебель на топливо. А дикарь пензенский уничтожает вещи в Самаре... Кроме того есть и другое отношение, это отношение глупых хвастунов, которые, ломая и разрушая, самонадеянно говорят, что они могут сделать лучше того, что они ломают... Национальное имущество разрушается и исчезает из нашего обихода со страшной быстротой...»

Так вещает Горький. И, слушая такие речи, всякий Уэллс должен понять, сколь мудр и объективен он.

«Дикари... Глупые хвастуны, говорящие, что они могут сделать лучше...» «Национальное(!) имущество разрушается со страшной быстротой...»

Правильно, товарищ Горький, правильно! Но неужели и впрямь вы не можете «сделать лучше» все то, что «ломаете и разрушаете?» Как же это так? Три года хвастаетесь на весь мир о своих «планетарных деяниях» и вдруг такое внезапное смирение, такое порицание «глупым хвастунам» и такая строгая нотация и кому же? — тем самым бедным «дикарям», что только и слышат от вас: «бей, грабь, ломай, ори, хвастайся!»

Впрочем, подобные вольности разрешаются в «Правде» только знаменитым беллетристам и поэтам: Горькому, Князеву, Малашкину, Гастеву, Филипченко... Мы-то, конечно, знаем только Горького да Князева из всей этой честной компании, да разве виноват Малашкин в нашей буржуазной отсталости от века! Посмотрите-ка, что разрешается этому самому Малашкину! Он пишет в своем стихотворении «Портрет Ленина»:

Кто же он? Сумасшедший?
Или просто нахал? —

и «Правда», разбирая с величайшей серьезностью его «новые достижения», только за одно немного журит его, — за излишнее подражание Уитману. Он дерзко спрашивает о Ленине:

Кто же он? Сумасшедший?
Или просто нахал? —

и «Правда» с истинно идиотской наивностью замечает: «Прямого ответа на этот вопрос поэт не дает...» — а затем расшифровывает дерзкого «поэта»: «Поэт только намекает, что такой вопрос мог родиться в низких душах рабов, которые, изничтоженные величием фигуры Ленина, *шипя уползают во мглу, подобно кобрам...*»

Эти «кобры» и «мгла» — чем это хуже цыплячьего «визга», «красных львов» в лаптях или «пресловутой свиньи»?

Ив. Бунин

<30 октября 1920, Париж>

НЕСКОЛЬКО СЛОВ АНГЛИЙСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Уэллс рассказывает по воскресеньям о своем сентябрьском путешествии в Россию. Вот суть его рассказов (курсив мой):

— Я провел в России *15 дней*, был в Петербурге, живя у своего приятеля Горького, был в Москве, *всюду свободно разгуливал*, видел *почти все*, что хотел... *Русская действительность необыкновенно жестока и ужасна...* Огромный, ужасающий, небывалый в мире и непоправимый развал... Великая держава погибла, *благодаря шестилетней войне, своей внутренней гнилости и империализму...* Среди всеобщей дезорганизации *власть взяло правительство, ныне единственно возможное в России...* Ценой многих расстрелов оно подавило грабежи и разбой, установило своего рода порядок... Социальный и экономический строй прежней России, *столь схожий с европейским*, развалился — и это грозное предостережение всей Европе...

— Развал этот очевиднее всего в Петербурге. Его дворцы теперь пусты или странно полны пишущими машинками новой власти, борющейся с голодом и *иностранными завоевателями*. Из всех несметных магазинов осталось с *полдюжины лавок*, среди них *посудная и цветочная*. Удивительно! В городе, где почти все умирают с голоду, все оборваны и в грязи, я мог купить за 5000 руб. букет крупных хризантем...

— Для осуществления государственного контроля и помехи спекулянтам закрыты и все рынки. Пустота придает городу нелепый вид, редкие прохожие в лохмотьях всегда торопятся, всегда с какими-то узлами, точно убегают куда-то. Мостовые в глубоких ямах, их ломают и растаскивают, равно как и деревянные дома...

— Советская статистика, *очень откровенная и правдивая*, говорит, что смертность среди остатков голодающего и страшно подавленного петербургского населения увеличилась почти вчетверо, рождаемость очень пала...

— В узлах прохожих — пайки или предметы торговли, обмена на продовольствие, хотя всякая торговля считается в России спекуляцией и со спекулянтами там разговор короткий — расстрел...

— Каждая станция — тоже толкучка, где торгуют продовольствием крестьяне, имеющие вид сытый. Они не против советской власти, они лишь истребляют иногда реквизиционные отряды, но это не восстания, — *ничего подобного нет...* Все прочие классы в большой нужде. Много лишь чаю, папирос и особенно спичек (и прекрасных). Но нет ни простынь, ни вилок, ни ложек, — *ничего для домашнего обихода. Лекарств тоже нет. Нет даже бутылки для горячей воды, чтобы положить в постель...*

— Всякий маленький недуг вырастает в серьезную болезнь. Почти все имеют хворый вид. Веселый, жизнерадостный человек — редкость... Операций делать почти нельзя...

— На собрании писателей Амфитеатров обратился ко мне с длинной и горькой речью. Он хотел, чтобы все сняли пиджаки и показали то рубище, что под ними... Все в этом разрушенном городе ужасающе голодают и мерзнут. Прошлой зимой во многих домах было ниже нуля, санитарные трубы замерзли, лопнули, — вы понимаете последствия. Все сбивались в одну комнату, коротая время за чаем, в полутьме...

— Железные дороги почти не действуют. Но, если бы и действовали, все равно был бы голод, — *Врангель захватил продовольствие на юге... во всех бедствиях виновны не большевики*. Они не разрушали России ни силой, ни коварством. Нездоровый строй сам себя разрушил...

— *Не коммунизм, а капитализм выстроил эти огромные, невозможные города*. Обанкротившуюся империю загнал в шестилетнюю войну не коммунизм, а европейский империализм, *ввергнувший Россию в целый ряд субсидированных нападений, нашествий и восстаний...* Керенский не сумел заключить мир с Германией — и русский фронт покатился назад, домой...

— Искусство, литература, наука — все погибло в общей катастрофе. Уцелели одни театры: в Петербурге каждый день сорок спектаклей, то же и в Москве...

— Я слышал Шаляпина. Мы обедали у него. Он берет 200 000 рублей за выход и сохранил нормальную обстановку. Горький здоров, вырос духовно... Он не коммунист, как я. *Он при мне свободно спорил в своей квартире против крайних взглядов бывшего председателя петербургской чрезвычайки.* Он завоевал *доверие и почет* у большевиков, одержим *страстным сознанием ценности западной культуры*, сделался *официальным спасателем* остатков культуры русской... Организовал «Дом Науки». Тут центр выдачи пайков ученым, тут для них ванна, парикмахер, портной, сапожник... Я видел несчастные, озабоченные фигуры Ольденбурга, Карпинского, Павлова...

— Наша блокада отрезала их от культурного мира; они лишены инструментов, даже простой бумаги, работают в нетопленных лабораториях... Многие из них уже впали в отчаяние. Они целых три года со ступеньки на ступеньку спускались в полный мрак, *никак не ожидали, что увидят свободного, независимого человека, который так легко приехал из Лондона, которому возможно не только войти к ним, но и вернуться в потерянный для них цивилизованный мир.* Точно неожиданный луч света в темноте!

Я видел Глазунова — это уже не прежний большой, полнокровный человек, он худ, бледен, платье на нем висит. Он еще горит жаждой увидеть европейский город, полный жизни, во всем обильный, с веселой толпой, с теплыми светлыми комнатами. Я понял, до чего одаренные люди зависят от прочно организованной цивилизации.

— Смертность среди выдающихся русских людей теперь чрезвычайно высока. *Они не могут жить в хижине кафра...*

— Писание новых книг, кроме поэзии, прекратилось в России, но большинство писателей работает при грандиозном издании Горьковской энциклопедии всемирной литературы, над переводами для нее... хотя как будет распространяться эта литература? Книжные лавки закрыты, книготорговля, как и всякая другая, запрещена... Большевики, верные лишь Корану Маркса, не только лишены созидательных идей, но и враждебному им, никаких планов строительства новой жизни не имеют, знают лишь классовую борьбу, во всем неуклюже импровизируют... Возможно, что эта жизнь умрет на руках у них...

Такова суть двух огромных, повторяющих все одно и то же статей Уэллса. Третья — вариант двух первых. Уэллс говорит: был в России строй «еще более слабый гнилой, чем наш», потом пришла великая смута, Керенщина, «болтов-

ня партий», «трупы на улицах»... Одни большевики «имели волю, веру, организацию» (волю к чему, веру во что, — Уэллсу безразлично), одни большевики установили некоторый порядок; *власть их, конечно, странна* уже хотя бы по одному тому, что «в России совсем нет еще рабочего класса», коммунистов не наберется и одного процента», но ведь Колчак, Деникин, Врангель — «авантюристы, разбойники, лишенные всякой идеи», а у большевиков она все-таки есть, «они выше своих врагов, хотя неуклюжи, кровавы»... «они дали народу землю, мир с Германией...», «*чрезвычайно подавили всю оппозицию*, в них работают люди узкие, фанатики, но *честные, работающие с определенной целью*»... Марксизм учение тупое, «я ненавижу даже бороду Маркса и его совиную физиономию», и большевики, будучи марксистами, смешны для меня, жалки своей верой в европейскую революцию, «*которой, конечно, не будет*», но они «честные люди»... Что будет Уэллс писать дальше, я не знаю, да и не интересуюсь, ибо справедлива английская пословица, что для того, чтобы узнать, испортился окорок или нет, вовсе не надо съесть его весь. Но то, что я уже знаю, то, что я уже услышал от английского писателя, возмутило меня, писателя русского, до глубины души.

Нельзя не отозваться на слова такого известного и, значит, влиятельного человека, как Уэллс, и вот я экстрактирую его статьи, чтобы резче выступил их ужасный, а порою смехотворный смысл, сжато повторяю их с определенной агитационной целью, — слушайте, слушайте, христиане, люди двадцатого века и цивилизованного мира, что говорится о России не одними нами, которых подозревают в пристрастии, но и знаменитыми англичанами!

Мне, которому слишком не новы многие открытия Уэллса насчет ужасов в России, было все-таки больно и страшно читать его: мне было стыдно за наивности этого туриста, совершившего прогулку к «хижинам кафров», в гости к одному из людоедских царьков (лично, впрочем, не людоеду, «он не коммунист, как и я») — стыдно за это неподражаемое: «бедные дикари, у них нет даже бутылки горячей воды для постели!» — стыдно за бессердечную элегичность его тона по отношению к великим страдальцам, к узникам той людоедской темницы «с ванной и парикмахером», куда он, мудрый и всезнающий Уэллс, вошел, «как неожиданный луч света», куда «так легко», так непонятно легко для этих узников прогулялся он, «свободный, независимый» гражданин мира, не идеального, конечно, но ведь все-таки человеческого, а не скотского, не звериного, не большевистского, — стыдно, что знаменитый писатель оказался в своих суждениях не выше любого советского

листка, что он без раздумья повторяет то, что напел ему в уши Горький, хитривший перед ним и для блага Совдепии, и для приуготовления себе возможного бегства из этой Совдепии, дела которой были весьма плохи в сентябре. Я обязан сказать кроме этого еще и то, что я, не пятнадцать дней, а десятки лет наблюдавший Россию и написавший о ней много печального, все-таки от всей души протестую против приговоров о ней господ Уэллсов.

Похоже, что Уэллс поехал в Россию, где остались только прекрасные спички, хризантемы и поэзия советских поэтов, частью из любопытства, частью потому, что такие поездки дают сенсационный материал для статей и, главное, с целью патриотической: подтвердить «правильность» английской политики, говорящей, что Россия все равно погибла и что для ее же блага нужно вступить в сношения с правительством, «увы, единственно достойным ее» и на траты на передышки весьма щедрым.

Я объясняю себе дифирамбы Уэллса Горькому прежде всего тем, что господа Горькие весьма полезны английским туристам в качестве гидов по советскому аду, вступают с ними в некое безмолвное соглашение, инспирируют их, «мы, мол, понимаем, что именно нужно знать и слышать вам, вы, конечно, вполне невежественны насчет нашей экзотической страны, но мы подскажем вам кое-что. Скрывать всю нашу глупость теперь уже глупо, поэтому будем говорить начистоту, не будем прибавлять, что за неимением гербовой пишут на простой — мы власть не важная, но единственно подходящая для России, — будем, кроме того, и плакаться перед Европой: пожалейте несчастный Петербург, гниющий из-за блокады! Все это полезно нам и вам. Вы, конечно, не Бог вещь какие друзья наши, но все равно, — мы за ценой не постоим, а вы уж признайте нас так или иначе, сделайте вид, что и вам стало жалко «остатков русской культуры», и дайте нам «передышку», а там видно будет, чья возьмет...».

Считаю своим долгом заявить, что дело свое Уэллс исполнил все-таки чересчур неловко и даже комично.

В статьях Уэллса что ни строка, то ужас, — один вид Петербурга и его прохожих чего стоит! — а он только бессердечно элегичен; в его рассуждениях, что ни слово, то перл, но он совсем не понимает, как жутки и даже кошунственны порою его смехотворные и наивные замечания: «да, там всюду ужас, смерть, непроглядная ночь, пустота погоста, но спичек, хризантем и пишущих машинок для борьбы с *иностранными завоевателями* — сколько угодно!» Он не понимает, что некоторые вещи не всегда удобно разглашать, некоторые мысли неловко выражать вслух. Помилуйте, че-

го только не ввали ему в Совдепии, а вот он поехал — и ничего себе, свободно разгуливал, за пятнадцать дней увидел в стране, занимающей часть земного шара, почти все... видел в гостях у Горького всемирно известного палача, который вовсе не кусается, а только «подавляет оппозицию» путем чрезвычайки, который дружит с Горьким (вообще снискавшим себе почет и *доверие* у палачей, очень, кстати сказать, идейных и честных), видел, говорю, этого палача, и он, представьте, позволяет свободно спорить с собою этому самому Горькому, находящемуся, слава Богу, в добром здоровье и очень выросшему духовно... И, читая Уэллса, мне то и дело хотелось воскликнуть: «Ах, господин Уэллс, господин Уэллс!»

Вот он наблюдает и мыслит, руководимый своим *Виргилием*: «Развал небывалый, ужасающий; но ведь он не только есть, но и был, ибо Временное Правительство не сумело заключить мира, и русский фронт покотился назад, — так что в чем же виноваты большевики?»

И дальше: «Среди всеобщей дезорганизации власть взяло коммунистическое правительство, для России единственно пригодное, хотя в России не наберется и одного процента коммунистов...»

И мне хочется спросить: что это такое, господин Уэллс, — наивность, неосведомленность в том, что известно теперь даже детям, или что-нибудь другое?

Разве Временное Правительство хотело, да только не смогло заключить мир? Развал нашего фронта разве не есть дело прежде всего большевиков и немцев? Разве не Ленин орал в Петербурге в апреле семнадцатого года: «Да здравствует мир с немцами и — гражданская война, мировой пожар!»

Он, видите ли, совсем не хотел и не хочет шестой год длить войну, он пожалел Россию, — увидал всюду «трупы и дезорганизацию» и волей-неволей взял власть в свои руки, правда, «неуклюжие, кровавые», но единственно подходящие для России, и это империализм «вверг ее в целый ряд субсидированных нападений и восстаний», а он решительно ни на кого не нападает, он против восстаний и субсидий (и особенно для некоторых английских газет)!

Но нет, г. Уэллс, дело было все-таки не совсем так: Ленины целую неделю громили Москву из пушек руками русских Каинов и пленных немцев, Ленины бешено клялись, захватывая власть: «наша победа уже не даст подлой буржуазии сорвать Учредительное Собрание, навсегда обеспечит вам мир, хлеб, свободу!» — и это Ленины штыками разогнали это самое Собрание, это они, вместо мира, стали, тотчас же после захвата власти, «ковать» красную

Р. В. до тех несчастна утесна
Умрауи! Теи фомко ке
перешла! И томк отиъ-пуъ
не все, бидише, въ уласт —
снотшаф ситраховарьса —
валомъ валъф жиньсарьса
въ „набриож“, въ „Снотъ
пузен“ ^{Кратка сказка} „отечество“...
(довольно етасное, ^{Кратка сказка} тибание —
„Совиетское отечество“! —

армию «на бой со всем буржуазным миром до победного конца», это Ленины задушили в России малейшее свободное дыхание, они увеличили число русских трупов в *сотни тысяч* раз, они превратили лужи крови в моря крови, а богатейшую в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на всех попрощах истинных гениев не меньше Англии, сделали голым погостом, юдолью смерти, слез, зубовного скрежета; это они затопили весь этот погост тысячами «подавляющих оппозицию» чрезвычайек, даже кровавее которых мир еще не знал институтов, это они, которым вы дерзаете противопоставлять «разбойников» Деникина и Врангеля, целых три года дробят черепа русской интеллигенции, они заточили в ногайский плен великих Павловых, это от них бежали все имеющие возможность бежать, — ум, совесть, честь России, — это благодаря им тщетно вопил к христианской Европе покойный Андреев: «Спасите наши души!» — это при их ханской ставке из всех русских писателей осталось почти одно отребье их да ваш «приятель», скупающий на казенные деньги полуживые души и голодные животы русских интеллигентов для *этой подлой комедии с энциклопедией* — в стране, несчастные, оплеванные, раздавленные сыны которой, точно выходцы загробного мира, дивятся вам, даже пугаются вас, «свободный, независимый» Уэллс, грозящий буржуазному миру, как и я когда-то грозил «господам из Сан-Франциско»: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» — и не понимающий, что на этой бедной земле все-таки все познается, увы, по сравнению.

— «Ценой многих расстрелов они подавили грабежи и разбой...» Нет, не «многих», а *несметных*, все еще делящихся и делящихся, и вовсе не «подавили», а только возвели грабеж в закон, в норму, назвав их реквизициями и «отбиранием излишков», а разбой — трибуналами, чрезвычайками, да и то только в больших городах: по всей прочей необъятной земле русской кровь от руки разбойников и грабителей течет буквально реками уже без всякой нормы, даже не «в порядке проведения в жизнь красного террора», как выражаются советские газеты, паскудные, кровавые страницы которых так часто украшает ваш «приятель»!

— «Пишущие машинки новой власти, борющейся с *иностранными завоевателями...*» — это тоже недурно сказано, не хуже того, что Врангель, захватив Крым, то есть одну крохотную частичку России, лишил всю Россию всего, всего, кроме советских поэтов, спичек и хризантем!

— «Не коммунизм выстроил эти огромные, невозможные города...» Правильно, г. Уэллс, коммунизм не выстро-

ил еще даже и свиной закуты, и вольно же, в самом деле, «империализму» строить такие огромные города»!

— «В Петербурге каждый вечер сорок спектаклей...» Да, совершенно верно, как и то, чего не скрывает и сама «откровенная и правдивая» советская статистика: и расстрелов каждый вечер сорок, пятьдесят, сто.

— «Наша блокада отрезала Павлова от культурного мира...» Увы, опять и опять немного не так, г. Уэллс, — Павлов не раз, но совершенно тщетно молил выпустить его из ада, столь мило изображенного вами, столь дивно сочетавшего в себе «хижину кафра» — и «Дом Науки» с бритьем для умирающих от голода, чрезвычайку, где «знают, зачем работают», где с рук живых людей сдирают так называемые «перчатки» — и «Дом Литературы», к сожалению, «прекратившийся, за исключением поэзии», в России.

— «Горький не коммунист, он растет духовно...» О, да, растет, растет! Он, который 7-го февраля 1917 г. назвал Ленина и Ко «проходимцами, предателями родины, революции, пролетариата, именем коего они бесчинствуют на вакантном троне Романовых», а 1 мая 1919 г. участвовал во «всемирном» съезде коммунистов и говорил, что «русские коммунисты, *честнейшие* в мире люди, творят дивное, планетарное дело», а недавно заявил, что девяносто пять процентов этих коммунистов «бесчестные грабители и взяточники», — он несомненно растет! Я ведь видел его не три раза в жизни, как вы, знаю его не несколько дней, а двадцать один год и не дивлюсь этому росту. Много слышал я от него и песен о «ценностях западной культуры», которую вы, г. Уэллс, считаете, впрочем, «гнилою»!

Но я бы никогда не кончил, цитируя вас, доказывая вам то, что уже давно известно всему миру. Вот вы заявляете: «Я понял, до чего одаренные люди зависят от прочной цивилизации...» Что мне остается, как не подписаться под этим великолепным открытием, хотя оно, повторяю, и не совсем вяжется с вашими иеремиадами насчет «гнилой цивилизации империалистов»? Вот вы грозно ополчаетесь на «полицейский строй» прежней России, но ведь, г. Уэллс, этот строй был «столь похож» на ваш! Вот вы говорите про Глазунова: «Он еще горит жаждой увидеть европейский город, полный жизни, с веселой толпой, с теплыми, светлыми комнатами» — и у меня застилаются глаза такими едкими слезами горя, каких не дай вам Бог испытать никогда! Часто случается и так: еду или иду я по Парижу, смотрю, думаю что-нибудь совсем не связанное с Россией — и вдруг, в каком-то странном изумлении, мысли мои обрываются, и я внутренне восклицаю: ах, Бог мой, вот идут, едут, разговаривают, смеются люди — и ничего себе, никто

их не бьет, не грабит, не ловит, никого они не боятся, сыты, обуты, одеты... и тогда сердце мое охватывает такая боль, такая ярость к вашим «приятелям», что не мудрить мне хочется, не спорить с подобными вам, а только кричать, плакать от этой боли и от жажды нестерпимой мести!

Любезный собрат, мы не забудем вашего заявления, что мы достойны только тех висельников, у коих вы гостили пятнадцать дней, и что наши Врангели — «разбойники».

Я пишу эти строки в дни наших величайших страданий и глубочайшей тьмы. Но взойдет наше солнце, — нет среди нас ни одного, кто бы не верил в это!

И тогда мы припомним вам, как унижали вы нас, как хулили вы имена, для нас священные.

Ив. Бунин

<24 ноября 1920, Париж>

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

<О КАЛМЫКАХ>

У знакомых — только что полученное из Москвы письмо. Между прочим в нем сообщается: среди прочих плакатов, в несметном количестве продолжающих наводнять Совдепию, появился недавно еще один, — новое произведение Московских правителей и придворных художников их, поистине символическое: изображен огромный костяк, — смерть, — а у ног этого костяка — огромная вошь, которой он пожимает своей дланью одну из клешней. Подпись под этой жуткой гнусностью гласит:

— Граждане! Блюдайте чистоту!

«И в это-то время, прибавлено в письме, когда мы, уже давным давно забывшие, что такое баня, спящие в тех же грязных лохмотьях, в которых сидим и весь день, все разим псиной и когда кусок мыла стоит у нас пять тысяч рублей».

* * *

Погиб целый народ — калмыки. В прошлом году при Деникине работала комиссия по расследованию большевистских злодеяний, состоявшая из видных общественных и судебных деятелей и собравшая богатейший и достовернейший материал, который частично привезен на днях в Париж.

Я видел прибывшего вместе с этим материалом приятеля, ближайшего сотрудника этой комиссии, известного земского деятеля и писателя. Он между прочим говорит:

— Нам документы давал главным образом, конечно, лишь юг России. Но и этого было слишком достаточно, чтобы просто в тупик стать перед той картиной, которая развертывалась перед нами за нашей работой. Взять хотя бы один уголок этой огромной и страшной картины — тот отдел наших документов, который касается религиозных кошуновств, религиозных гонений и мученичества верующих и священнослужителей. Я убежден, что еще мало кто отдает себе ясный отчет, что сделано большевиками, вот хотя бы в этой области. С трудом верится, а меж тем это факт, что Россия двадцатого века христианской эры далеко оставила за собой Рим с его гонениями на первохристиан и прежде всего по числу жертв, не говоря уже о характере этих гонений, неопикуемых по мерзости и зверству. А что до калмыков, о которых я давеча упомянул, то, выражаясь фигурально, на моих глазах произошла почти полная гибель этого несчастного племени. Как известно, калмыки — буддисты, жили они, кочуя, скотоводством. Когда пришла наша «великая и бескровная революция» и вся Россия потонула в повальном грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему. Являются к ним агитаторы с самым настойчивым призывом «грабить награбленное» — калмыки только головами трясут: *«Бог этого не велит!»* Их объявляют контрреволюционерами, хватают, заточают — они не сдаются. Публикуются свирепейшие декреты — «за распространение среди калмыцкого народа лозунгов, противодействующих проведению в жизнь революционной борьбы, семьи виновных будут истребляемы поголовно, начиная с семилетнего возраста!» — калмыки не сдаются и тут. «Революционное крестьянство захватывает земли, отведенные некогда царским правительством для кочевий калмыков, для их пастбищ», — калмыки принуждены двигаться куда глаза глядят для спасения скота от голодной смерти, идут все к югу и к югу. Но по дороге они все время попадают в полосы военных действий, в «сферы влияния» большевиков — и снова лишаются и собственных жизней и скота — рогатый скот и отары их захватываются и пожираются красноармейцами, косяки лошадей отнимаются для нужд красной армии, гонятся куда попало — к Волге, к Великороссии и, конечно, гибнут,дохнут в пути от голода и беспризорности. Так, изнемогая от всяческих лишений и разорения, скучиваясь и подвергаясь разным эпидемиям, калмыки доходят до берегов Черного моря и там останавливаются огромными станами, стоят, ждут, что придут какие-то кораб-

ли за ними, — и мрут, мрут от голода, среди остатковдохнувшего скота... Говорят, их погибло только на черноморских берегах не менее пятидесяти тысяч! А ведь надо помнить, что их и всего-то было тысяч двести пятьдесят. Тысячами, целыми вагонами доставляли нам в Ростов и богов их — оскверненных, часто на куски разбитых, в похабных надписях Будд. От жертвенников, от кумирней не осталось теперь, может быть, ни единого следа...

<27 ноября 1920>

ЧЕХИ И ЭСЕРЫ

Читаю японскую газету «Дело России», основанную г. Гутманом (А. Ганом). Ужасные документы печатаются там!

Чешская дружина, говорится в этих документах, вступила в ряды русской армии в 1914 году и с течением времени, благодаря тому, что после русской революции, чешскому национальному Комитету был дана свобода, в смысле использования всех военнопленных чехов, разрослась в корпус, численностью в пятьдесят-шестьдесят тысяч человек, в каковой массе, извлеченной из аморальной среды концентрационных лагерей, совсем потонула первоначальная кучка идейных воинов. После Брестского мира, в Париже было решено отправить этот корпус через Владивосток на французский фронт, и весна 1918 года застала чешские эшелоны растянутыми от Пензы до Тихого океана. Тогда Мирбах потребовал от покорных ему большевиков разоружения их, и *это было единственной причиной чешского антибольшевистского восстания*: мы, говорит «Дело России», совершенно отрицаем идейность в действиях чехов на Волге и в Сибири. Что до командного их состава, то достаточно сказать, что только один из чешских генералов, Чечек, имел стаж австрийского лейтенанта. Прочие были вроде Сыроваго, бывшего коммивояжера, или Гайды, бывшего фельдшера, и солдаты их, конечно, ни в грош не ставили, думая лишь об одном — о скорейшем возврате на родину. Совершенно изменился и состав Чешского Национального Комитета: идейные его основатели были вытеснены политическими карьеристами, домогавшимися популярности у солдат грубейшей демагогией; руководителями всего комитета явились крайние социалисты — Павлу, Патеидель, Гирс, Благош, впоследствии предавший Колчака, и проч.

В чем выразилась тогда, то есть весной 1918 года, борьба чехов против большевиков? Да почти ни в чем, говорит

«Дело России»: боевых сил у большевиков тогда в Сибири почти не было, а кроме того целый ряд городов — Челябинск, Омск, Иркутск — были очищены от большевиков исключительно русскими офицерами и добровольцами. Это не мешало, однако, чехам входить в эти города победителями, принимать овации населения, *а затем тотчас же приступать к реквизиции русского казенного имущества, якобы для военных нужд.*

Без всяких почти усилий заняли чехи Уфу, Самару, Симбирск, Казань: большевистские латыши, китайцы и матросы заняты были тогда *подавлением* восстаний в центре России, а наскоро сбитые в Поволжье красные части разбежались при первом выстреле из хорошей пушки.

Какую роль могли сыграть чехи в деле возрождения России! Но, увы, о благе ее они думали менее всего, — вся деятельность их вождей была проникнута политиканством *да беззастенчивой спекуляцией*; и судьбу свою они связали исключительно с эсерами. Начало этому было положено в Самаре.

Большевики направляли тогда весь свой террор на партии с национальными принципами. К социалистам-революционерам относились довольно снисходительно. И социалисты-революционеры благополучно здоровались, и, почуяв возможность вновь пристроиться к власти, перебрались к тому времени на Волгу г-н Чернов и присные его. Чешские социалисты приняли их, конечно, весьма тепло, и результатом этой встречи явилось создание «Самарского Правительства»: *чешскими штыками была водворена на Волге власть эсеров, а вовсе не волею народа*, и эсеры, очень не любившие «генералов-диктаторов», должны это твердо помнить. А усилия «Самарского Правительства», равно как и последовавшей за ним Директории, устремились исключительно к «созданию единого социалистического фронта», к компромиссам с большевикам и к «борьбе с контрреволюцией»: одной из первых забот новой власти было учреждение особой охраны для уловления контрреволюционеров.

«Самарский Комуч», говорит г. Ган, комментируя эти документы, был таков, что его чуждались даже «Бабушка» и Авксентьев, и он сделал все, чтобы закрепить в массах большевизм, при полном отсутствии в те дни большевистского засилия на Волге... Государственная казна, захваченная эсерами, рекой текла на содержание огромного штата эсеровских агитаторов, партийных работников, инвалидов и т.д. Восстали Ижевский и Воткинский заводы — тотчас же как из-под земли вырастает эсеровский штаб и захватывает верховую власть... Снова обираются дочиста три каз-

начейства, снова бесконтрольно текут народные деньги, снова создаются «агитационно-вербовочные кадры», снова «уговоры» идти на большевиков — и полное неумение использовать даже те силы, что сами рвались на борьбу.

В Поволжье «организация вооруженных сил» была поручена Черновым 26-летнему офицеру Галкину. Этот правнук «русской революции» был возведен в ранг генерала и военного министра, а Лебедев, бывший морской министр Керенского, выдавший море только потому, что в дни своей эмиграции пробирался иногда на русские военные суда для агитации, — в помощники этому «правнуку». Легко себе представить, какова была «организация»! К отбыванию воинской повинности призывали кого попало, без всякого толку, призванные митинговали, бездельничали, а господа Черновы травили офицерство и подрывали в армии последний престиж его... Чехи потеряли Казань при первом серьезном натиске красных. Русские, воспитанные господами Черновыми вышеуказанным способом и посланные на помощь чехам, оказались совершенно небоеспособными. А через два дня был потерян Симбирск, через месяц — Самара. *И чехи, нагрузив на поезда и подводы все, что можно было захватить из казенных русских складов, двинулись дальше к востоку.*

Провал чехов на Волге был одновременно и провалом их верных сотрудников эсеров. Они мнили себя «выразителями чаяний широких масс», но на массы не подействовало ничто: ни аграрная программа Чернова, ни «пламенные призывы» Комитета Членов Учредительного Собрания. А чехи, проиграв Волгу, двинулись дальше, стягивая за собой богатейшую «военную» добычу. Поезда и склады их ломались от русского обмундирования, вооружения, продовольствия, обуви. «Металлы, разного рода сырье, ценные машины, породистые лошади объявлялись чехами тоже военной добычей. Одних медикаментов ими было забрано на сумму свыше трех миллионов рублей.

Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского университета. По самым скромным подсчетам эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов золотых рублей...

Часть этой добычи стала предметом открытой продажи, часть была погружена в вагоны к отправке в Чехию. Чешский национальный комитет поднял перед союзниками вопрос об эвакуации всех чешских войск из Сибири. *«Мы подчеркиваем этот факт, ибо впоследствии главари чехов имели смелость утверждать, что чехи отказались от дальнейшей активной борьбы с большевиками только потому, что не хотели поддерживать власть Колчака. Между тем, в*

описываемое время благополучно здравствовала директория, демократизм которой не подлежал сомнению...»

По странной случайности почти одновременно с получением «Дела России» мне пришлось говорить о роли чехов по отношению к Колчаку с одним видным эсером, ныне находящимся в Париже: он оппозицию чехов Колчаку, конечно, объясняет тем же самым, что и чехи: «Реакционностью сего истерического генерала». Как видите, дело обстояло несколько иначе...

Дело было в том, что чехи грабили и спешили домой, а эсеры все больше и больше проваливались в своей новой попытке властвовать и уловлять сердца народа (*что особенно надо твердо помнить в наши дни*, когда эсеры особенно громко говорят о всяческих недостатках «Колчаков, Деникиных, Врангелей»). Мобилизация, объявленная эсерами в августе, не дала никаких результатов. Крестьянский съезд, послушав сладкие речи «селянского министра», разъехался, решив не платить податей и не давать солдат. Тогда в Уфе собралось знаменитое «Уфимское Государственное Собрание» — Авксентьев, Брешковская, Минор, Зензинов, Вольский, Роговский, Климушкин (бывший волостной писарь) и т.д. Целый месяц шла партийная свара, тысячи листов бумаги были застенографированы — наконец, согласие вылилось в избрание «Директории», «во временную уступку сибирской реакции». Но и после этого в Уфе все еще длились митинги и разложение масс. Самара пала, «Комуч» бежал, чехи открыли фронт, а в Уфе новая керенщина шла вовсю; Уфу уже эвакуировали и беженцы платили бешеные деньги за места в вагонах... Наконец, в специальном поезде, с огромным штатом в несколько сот «партийных работников» и с несколькими десятками миллионов из Уфимского Казначейства эсеры отбыли в Омск...»

Что было дальше? Чехам со своей огромной добычей надо было выбраться домой, но Колчак не выпустил бы их без осмотра. А эсерам нужна была власть. «И они, конечно, хорошо учли слабое место совсем разложившихся чехов и заключили с ними союз для совместных действий против Колчака... Знаменитый меморандум, выпущенный иркутским штабом чехов в декабре, после омской катастрофы, меморандум, полный высоких слов о «свободе русского народа, есть произведение вполне лживое и лицемерное...»

Таковы отрывки этой страшной для России и поучительной истории.

Ив. Бунин

<24 декабря 1920, Париж>

В ЧЕМ СИЛА БОЛЬШЕВИКОВ?

«В чем сила большевиков? Почему они у власти три года? Что укрепило их?»

Ничто их не укрепило и не укрепляло, они лишь существовали. И как! Все время висят над пропастью, напрягая все силы, чтобы не рухнуть, среди вечного страха за это существование, среди вечных восстаний, заговоров, «мятежей», кои надо топить все в крови и в крови, в истерических, сумасшедших зверствах, в низостях неопикуемых, в «похабных» мирах и похабнейших «передышках», среди вечных измен и предательств тех тварей, коими они вечно окружены, среди вечных буйно-балаганных буффонад, парадов, похорон, празднеств, имеющих лишь одну цель — все поражать, все дурачить, все лгать, все подкупать чернь, среди немолчных, надрывных криков и призывов, среди иступленной видимости какого-то «строительства», среди такой вопиющей пошлости, от коей, верно, тошнит даже наиболее пошлых из них, в гигантской, бессмысленной толще чиновничества, всяческих прислужников, приспешников, «спецов», спекулянтов, мародеров, в тесном кольце янычар и преторианцев из отребья инородцев и отребья вечно пьяных от кокаина, грабежа и крови воров, каторжников, сутенеров, полоумных сифилитиков, в атмосфере какого-то своего, нигде на земле не существующего, никаким языком не одолеваемого языка, вроде таких слов, как «губпрофнарсквуз», — и в сущности среди вечного, лютого одиночества и отщепенства! Прибавьте к этому гигантскую пустыню страны дотла разоренной, исковерканной, растленной, опоганенной буквально во всем и во вся, раздетой, разутой, во тьме, в холоде, всю свою энергию убивающей на заботу хоть чем-нибудь напитаться, страны вшивой, немытой, нечесаной, — «мы все воняем псиной», пишут из Москвы, — совершенно без всякой помощи гибнущей от тифов, цинги, холеры, помешательств, уже три года отрезанной от всего цивилизованного мира, живущей во власти только диких слухов и легенд, вечно ограбляемой, реквизируемой, дрожащей от вечных карательных экспедиций и прочих несметных кар, тонущей в море все новых и новых идиотских декретов, — прибавьте все это, и у вас волосы на голове зашевеливаются при мысли о таком существовании, о такой «крепости».

И все-таки они существуют, и все-таки не только эта страна, но и весь мир, прежде ужасавшийся от какого-нибудь «самарского голода» или «армянской резни», терпит их, да не только терпит, а устами своего «пролетариата», своей «демократии», будто бы несущей в мир новую, дивную религию равенства и братства, яростно требует «невмешательства» вот в эти самые «внутренние дела» России. Почему?

На это в десяти строках не ответишь.

«Возвращается мир на древние стези свои», что бы ни говорило современное умопомрачение о «лучезарной заре новой жизни» в эту глубокую ночь, когда мы так же далеки от братства и равенства, как горилла от Христа. — «Вот темнота покроеет землю и мрак — народы...

Низость возрастет, а честь унизится...

В дом разврата превратятся общественные сборища... И лицо поколенья будет собачье...»

Нет «силы», есть лишь использованные общемировые обстоятельства, использованное бессилие, недуг Руси, повторение одной из наших исконных «кровавых смут, усобиц и нелепиц». — «Се есть Русь, вельми шатая и темная, к свирепству поднятая, на велию зависть соседей лукавых и немилостивых пространная», — Русь, которую мы, «либерально невинно, мило болтавшие», по выражению Достоевского, пленявшиеся лишь чувствительной стороной социализма, «надевавшие лавровые венки на вшивые головы», никогда не хотели знать ее подлинной жизни, ее подлинных свойств, — Русь и поныне забытая за грызней партий, за прекраснодушными лозунгами, за долбней о «реакции», — Русь, в пучину ввергнутая при большой нашей помощи, — кто только не был из нас министром, какой уездный адвокат или мелкий журналист не командовал трехтысячным русским фронтом в дни величайшей мировой войны! — Русь, которая и поныне, среди всех обманов и каверз, чехословацких, английских, сибирских, кубанских и прочие, прочие, защищается только теми самыми «реакционными золотопогонниками», что одни, одни с беспрецедентным мужеством отстаивали три года тому назад Москву и Зимний дворец, одни костями ложились все-таки не за «реакцию», а за разбегавшихся куда попало господ из Временного Правительства, всячески теперь их шельмующих по Прагам и Парижам...

«Сила» сама шла и все идет и идет в руки этому отродью Шигалевых, — помните «Бесов»? — говоривших про себя: — «Надо разврата, разврата неслыханного... надо народу свеженькой кровушки... Мы мошенники, а не социалисты... Мы пустим цинизм, мы пустим пожары, легенды... Нам каждая шелудивая кучка пригодится... Безграничную свободу мы заключим безграничным деспотизмом... Раскачка такая пойдет, что мир ахнет... Затуманится Русь, заплачет по старым богам...»

И уже плачет она, бьется — в капкане, возле которого лежало так много сладких привад.

<1920>

ЕГО ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ*

...Думая о Нем и о той беспросветной тьме, что заступила уже все пути наши, развернул Библию, — делаю это теперь особенно часто, — и взгляд упал на 79 псалом:

— «Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм Твой, превратили Иерусалим в развалины, отдали трупы рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела святых Твоих — зверям земным... Боже, мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас... Пусть скорее встретит нас милосердие Твое, ибо мы весьма изнурены... Пусть придут перед лицо Твое вздохи узников, силою мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть...»

...Ничего не могу прибавить к этим изумительным ветхозаветным строкам. В них все сказано. И потом — воистину «мы весьма изнурены», и уже не хватает сил и желания говорить среди «окружающих нас». Одни из них мечут жребий о ризах наших, другие витийствуют о «светлом будущем», а там — там только «вздохи узников», муки «обреченных на смерть», защиты и спасения себе теперь уже ниоткуда не чающих.

Молча склоняю голову и перед Его могилою.

Настанет день, когда дети наши, мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, что все же не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был среди сынов ее.

Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли.

Ив. Бунин

<7 февраля 1921>

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Пустяк, но противный.

Кто бы мог подумать прежде, что в газете П.Н. Милюкова будет писать Василевский-Не-Буква. А вот он пишет, да еще как! Точно в каких-нибудь «Известиях» и сразу охавает (в «Последних новостях» от 1-го апреля) Мережковского, Гиппиус, Куприна, А. Яблоновского, меня. На меня, кроме того, врет.

* Памяти А.В. Колчака. (Ред.)

Он возмущается, утверждает, что мы пишем неправду о совдепии, преувеличиваем ее ужасы, выражаемся слишком грубо, говоря о большевиках... «Мережковский выдумал, будто в Москве казнят тем, что сажают в мешок со вшами... Бунин совершенно серьезно обсуждает вопрос, входит ли суп из человеческих пальцев в обычное меню в сов<етской> России... То ли еще сообщали всяческие недоброй памяти «Осваги»! Но когда такие сообщения выходят из уст Мережковского или Бунина, стоит призадуматься». И «призадумавшись», Василевский несет удивительную чепуху: как «во дни царских казней» мы «естественно левели», как теперь, «в дни Чрезвычайек», естественно правеем, а значит — злобимся («эпидемия поправления это раньше всего эпидемия злобы и ненависти») и оттого делаемся «бесплодны», новых рассказов не пишем, не даем «ни одного живого слова»...

Вот как просто истолковывается в газете П.Н. Милюкова молчание русских художников, вот за что (за злобу и грубость к большевикам) Бог наказал нас бессилием («когда поэт и пророк начинает лгать, Бог карает его бессилием»), вот как оценивается «Посл<едними> новостями» наша антибольшевистская деятельность.

А лжет-то, повторяю, вовсе не «поэт и пророк», а Василевский. Из моих «уст» никогда не исходило «сообщение о советском супе из человеческих пальцев», так что «призадумываться» надо мной было нечего. Правда, Василевский нарочно путает карты, — в другом месте своей статейки говорит, что я только «совершенно серьезно обсуждал вопрос, входит ли такой суп в *обычное* меню в сов<етской> России». Но и «обсуждал» я этот вопрос не совсем так.

Я говорил об этом супе в «Открытом письме к редактору газеты «Times», говорил только следующее: «господин редактор, русский писатель Горький горячо опровергает в письме к Уэллсу «мрачную глупость», напечатанную в вашей газете, сообщение одного англичанина, что он видел в одной советской столовой суп из человеческих пальцев, а вот я, зная тот ужас, в коем живет сов<етская> Россия, не очень-то верю горьковским опровержениям, думаю, что неспроста так часто появляются в европейской прессе столь «мрачные глупости» о сов<етской> России, что дым без огня не бывает, что какова же, значит, жизнь в России, если возможны такие выдумки (если только выдумки) о ней и совершенно серьезные опровержения их!..» Вот что я говорил и где? В газете самого же Василевского, в его «Свободных мыслях».

Василевский, осенью 1919 г. буквально обивший все пороги в одесском «Осваге» (Отделе пропаганды Добровольч<еской> Армии) и таки успевший продать ему две своих книжечки (в одной из коих Добров<ольческая> Армия

изображалась в виде доблестного Бовы Королевича), осенью 1920 г. явился в Париже и допек меня такой изнурительно-настойчивой просьбой (и лично, и через А.И. Куприна, и через А.П. Шполянского), дать что-нибудь для «Свободных мыслей», что я уступил и дал ему «Открытое письмо к редактору газеты «Times» о супе из человеческих пальцев». Тогда Василевский чуть не на коленях благодарил меня за это, выражал свое восхищение не только в словах, но даже в столах, в хватании себя за голову: «изумительное, потрясающее письмо!» Теперь он этим письмом, напечатанным в его же собственной газете, столь же безмерно возмущается... Нужны ли «комментарии» к такой мелкой низости? Объясняется она, впрочем, очень просто: вскоре после напечатанья моего письма в «Свободн<ых> мыслях», «Мысли» эти повели себя так, что мы с А.И. Куприным заявили Василевскому, что не дадим ему больше ни строки.

Отсюда и все прочее вранье Василевского на меня, — напр<имер>, его глупая попытка записать меня в юдофобы путем извращенной передачи того, что я писал в «Южной слове» в защиту не Наживина, которого тот же Василевский тоже хаял, обзывая «лысой душой», а в защиту газетной пристойности и в ответ на таковую же попытку со стороны «Современного слова» (а не «Одесских новостей»).

Ив. Бунин

<4 апреля 1921, Париж>

САМОГОНКА И ШАМПАНСКОЕ

Народ, народ, народ... Нужды народа, идеалы народа, душа народа... «Дело народа» и «Власть народа», «Воля народа».

Пришла великая война. Чего только не ввали мы о народе, о его патриотическом подъеме! Ведь это уж потом стали мы повторять ходячий анекдот:

— Нам что ж, мы вятские, он, немец-то, до нас не дойдет...

А раньше что мы пели?

Народу принадлежит старинная пословица:

— Из нас, как из древа — и дубина, и икона.

Была старая армия, была дисциплина, страшное сознание, что нельзя не покоряться государству, отечеству, власти — и была икона.

Но те, что сидели дома, в деревне были, конечно, довольно-таки равнодушны, только поддакивали:

— Конечно, наша возьмет! Где же такая сила, как у нас? Говорят, будто и француз на нашего (то есть на царя) *колебается*, ну, да и с французом справимся...

И неплохо сказал мне однажды один старичок-мещанин:

— Что их слушать? Все врут спросонья! Нет, для войны нужна смекалка и невры хорошие. А у нас в головах мухи дерутся (он сказал, конечно, не «дерутся», а иначе) и кишка слаба, нетерпелива, а потом и в кусты, надоело, ну его к черту...

В Англии, во Франции стали выходить тогда книги о русской душе, так они и назывались: «Душа России» — а в то же время я видел однажды какой-то английский журнал и в нем такую картинку: много снега, на заднем плане — маленький коттедж, а на переднем идущая к нему девочка, в хорошенькой шубке и со связкой учебников в руке; и коттедж этот, как оказалось при ближайшем рассмотрении, изображал русскую сельскую школу, а девочка — ученица этой школы, и имела эта девочка, как гласила подпись под картинкой, престранное для девочки имя:

— Петровна!

Думаю, что недалеко были и мы от такой же Петровны.

Как черпали мы тогда наши познания о народе, о его «воле», о его душе? Помимо газет, вравших несудом, еще и посредством общения с народом, а общение это было, примерно, такое:

Поздней ночью, едучи из гостей или с какого-нибудь заседания на извозчике по улицам Москвы или Петербурга, спрашивали, позевывая:

— Извозчик, ты смерти боишься? — И извозчик машинально отвечал дураку барину:

— Смерти? Да чего ж ее бояться? Ее бояться нечего. Двум смертям не бывать...

— А немцев — как ты думаешь, мы одолеем?

— Как не одолеть! Надо одолеть.

— Да, брат, надо... Только вот в чем заминка-то... («Я умею говорить с народом!»). Заминка в том, что царица у нас немка... Да и царь — какой он, в сущности, русский? Измена везде...

И извозчик сдержанно подлаживал:

— Это верно. Вон у нас немец управляющий был — за всякую потраву полтинник да целковый! Прямо собака...

Чего же нам было надо больше для твердой уверенности, что «наш мужик мудро относится к смерти», что он непоколебимо убежден в победе, что он «Богоносец» и чудобогатырь!»

Раз, весной пятнадцатого года, я гулял в московском зоологическом саду и видел, как сторож, бросавший корм пти-

це, плававшей в пруде и жадно кинувшейся к корму, давил каблуками головы уткам, бил сапогом лебедя. А придя домой, застал у себя Вячеслава Иванова и долго слушал его выскопарные речи о «Христовом лике России» и о том, что после победы над немцами, предстоит этому лику «выявить» себя еще и в другом великом «задании»: идти и духовно просветить Индию, да, не более не менее, как Индию, которая постарше нас в этом просвещении этак тысячи на три лет! Что ж я мог сказать ему о лебеде? У них есть в запасе «личины»: лебедя сапогом — это только «личина», а вот «лик»...

Пришла революция. Нужно ли добивать лежачего, в тысячный раз напоминать, какую чепуху несли мы при сем примечательном случае?

— Чудо, великое чудо! Святая, бескровная! Старое, насквозь сгнившее рухнуло — и без возврата! Вот он, истинный Народ-Богоносец, которого спаивали, натравляли на погромы, держали в рабстве, — вот он, во весь рост!

Впрочем, я совершенно напрасно употреблял слова: «добивать лежачего». Где он, этот лежащий?

Трезвый «Богоносец» сотворил такое «чудо», перед которым померкли все чудеса, сотворенные им во хмелю. Толки о чуде оказались чудовищными по своей преступной легкомысленности. Старое повторилось чуть ли не иота в иоту, только в размерах, в нелепости, в кровавости, в бессовестности и пошлости еще неслыханных. Но вздор, пустяки! Мы ничуть не лежачие, мы и глазом не моргнули, в сущности, нам все Божья роса, мы долбили и долбим все то же, все то же!

Правда, мы немножко удивились: как же это так, — думали, что все дело кончится, что офицерам перестанут отдавать честь и что их вежливо попросят снять погоны.

— Революция, товарищ, а на вас погоны! Ведь это ужас! Ведь как же при этом пересоздать Россию и умирать в борьбе с немецким империализмом! Никак не возможно!

Думали, что и Нахамкис помирится на отмене чести, что «солдат-гражданин», «раскрепощенный» приказом № 1, на руках будет носить одного из авторов этого приказа, г. Соколова... Вышло не так: Нахамкис не помирился, Соколову этот самый солдат так ахнул ведром в голову, что он, как гласили газеты, «ниже пояса был залит кровью», а беспогонная Россия полетела в тартарары... Да что с того? Мы в сущности растерялись весьма мало. «Народ перешагнул через Духонина», и было уже вполне ясно, что он перешагнет и через Россию. Он и перешагнул... Но не беда! Будет «Третья Россия»!

Выйдешь, бывало, — летом семнадцатого года, — на усадьбы, пойдешь на деревню... На деревне сидит возле избы дезертир, курит и напевает:

— Ночь темна, как две минуты...

— Что за чушь? Что это значит — как две минуты?

— А как же? Я верно помню: как две минуты. Здесь делается ударение.

— Какое ударение?

— Обыкновенное.

— Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

— А мне один черт — под немца, так под немца!

За всем тем попробовали бы вы тогда заикнуться, что этот «революционный солдат» только головой кивнет одобрительно, когда Карахан подмахнет за него «похабный мир»! Вас бы собаками затравили за такую «клевету на народ».

«Мы свято верим в русский народ, в его революцию, в его победу! Сермяжный гражданин, отныне державный хозяин земли русской, крепко держит в своих мозолистых руках и священное революционное знамя и винтовку!» — вот чем переполнены были тогда все эти «Воли народа», печатавшиеся на всех тех Собачьих Площадках и Вшивых Горках, где теперь стоят памятники Маркса, Свердлова, Урицкого.

Пройдешь, бывало, в сад... В саду караульщик передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною, — «в и р и я т н о , э р у н д а , б а р и н ? ». А мужик, его приятель, в сотый раз, с упоением рассказывает ему свое революционное прошлое.

Он в 1906 году полтора года сидел в остроге за кражу со взломом — и это лучшее его воспоминание, потому что в остроге было «веселей всякой свадьбы и харчи отличные». Он рассказывает: «в тюрьме обнаковенно на верхнем этаже сидят политики, а во втором — помощники этим политикам»; они никого не боятся, эти политики, «обкладывают матиком губернатора», а вечером песни поют мы жертвою пали; одного из них «царь приказал повесить и выписал из синода самого грозного палача», но потом ему пришлось помилованье, и к политикам приехал «Главный Губернатор, третье лицо при царском дворце», только что сдавший «экзамент» на губернатора; приехал — и давай гулять с политиками: «налопался, послал урядника за граммофоном, и пошел у них ход, — губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в полк... обещал прислать всем по двадцать коп<еек> денег, по полфун<та> табаку турецкого, по два ф<унта> ситного хлеба, да, конечно, сбрежал...»

Вот что, бывало, видишь и слышишь весь день на деревне. Всяческой чепухи, истинно русской и трагикомической и прямо жуткой, — ведь на каком страшном переломе была тогда Россия! — хоть отбавляй. И чепуха эта все росла, превращалась в злую и непроглядную тьму. То вдруг подобьет

кто-то деревню «изничтожить» в церкви икону Николая Угодника, и деревня уже готова к этому, как вдруг поднимается — как раз на Николин день, 9 мая — страшная метель, и деревня в ужасе бросает свою «революционную» затею. То скандал в церкви при пении «Яко до царя всех подымаем»: «Как так до царя? Опять до царя»? — То внезапно появляется толпа мужиков в казначействе в городе: «Мы за царскими деньгами: раз теперь царя нету, а деньги, говорят, народные, то, значит, они наши — вынимайте, считайте и делите всем нам поровну...» Было уже ясно, что «великая французская революция а ля рюс» все более получает вкус чисто пошехонской, доморощенной самогонки. Но каждый вечер получал я кипу газет... Как чудесно преломлялась в них п о д л и н н а я российская жизнь — это я уже говорил. Там самогонка превращалась в чистейшее шампанское.

Теперь, кажется, все уже доделано. На полной свободе вышли все семь тощих коров, без остатка пожрали семь тучных и не только не стали оттого тучнее, но и сами подошли с голоду. Все казни египетские испытаны. И что же, в конце концов, ждет нас?

Опять твердят, что «все само собой образуется», и что, при нашей доброй помощи, при помощи «демократии», опять будет нечто чудесное... Третья, уже настоящая революция. Третья, свободная, прекрасная Россия...

Летом 1919 г. сидел однажды в Одессе один красноармеец на часах (да, сидел, они не стоят, а сидят на часах), сидел в красном бархатном кресле, играл затвором винтовки, поражал боязливо пробиравшихся мимо прохожих своей разломанной позой, картузом на затылок и сальными волосами, напущенными на мутно-неприятные свинные глазки, и просвещал своих товарищей, грызших семечки, тогда еще не дотла слопанные:

— А Петроград весь под стеклянным потолком будет, так что ни дождь, ни град, ни что...

Вот так и мы в Париже фантазируем:

— Будет, будет! Да еще как! Все под дивным, демократическим потолком!

Все будет, ежели только сохранит Бог, а то вон Врангель хотел спасти Россию, да не удержался, отдал под цензуру «Крымский вестник» — и все пошло прахом...

Все будет. Уж кто-кто, а уж мы-то насчет «светлого будущего» равно как и насчет народа, его «воли», его «чаяний», достаточно осведомлены!

Ив. Бунин

<29 мая 1921, Берлин>

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

<О ГОРЬКОМ>

Опять Горький! Ну, что ж, и мы опять...

Начало февраля 1917 г., оппозиция все смелеет, носят слухи об уступках правительства кадетам — Горький затевает с кадетами газету (у меня сохранилось его предложение поддержать ее).

Апрель того же года — Горький во главе «Новой жизни», и даже большевики смеются, — помню фразу одного:

«Какой, с Божьей помощью, оборот!» — но, конечно, таким популярным соратником не пренебрегают. Ленин все наглее орет свои призывы к свержению Временного правительства, к гражданской войне, к избиению офицеров, буржуазии и т.д., — Горький, видя, что делишки Ленина крепнут, кричит в своей газете:

«Не смей трогать Ленина!» — но тут же, рядом печатает свои «несвоевременные мысли», где поругивает Ленина (на всякий случай)...

Конец 1917 г. — большевики одерживают полную победу (настолько неожиданно-блестящую для них самих, что «болван» Луначарский бежит с разинутым ртом, всюду изливает свое удивление) — и «Новая жизнь» делается уже почти официальным органом большевиков (с оттенком «опозиции Его Величеству»). Горький пишет в ней буквально так: «пора добить эту все еще шипящую гадину — Милюковых и прочих врагов народа, кадетов и кадетствующих господ!» — и результаты сказываются через два-три дня: «народ» зверски убивает двух своих заклятых «врагов» — Кокошкина и Шингарева...

Февраль 1918 г., большевики зарвались в своей наглости перед немцами — и немцы поднимают руку, чтобы взять за шиворот эту «сволочь» как следует... Горький пугается и пишет о Ленине и его присных (7 февраля 1918 г.):

«Перед нами компания авантюристов, проходимцев, предателей родины и революции, бесчинствующих на вакантном троне Романовых...»

Но заключается «похабный мир», Горький переводит «Новую жизнь» в Москву (знал о близком переезде туда «правительства»)... Газета его «в опале», но все-таки внедряется она в великолепный особняк на Знаменке, где на двери надпись:

«Реквизировано комиссариатом иностранных дел для редакции газеты «Новая жизнь»...

Осенью 1918 года покушение на Ленина, зверские избиения в Москве буквально кого попало — Горький закатывает <акафист> Ленину по случаю «чудесного спасения»:

ведь никто и пикнуть не смел по поводу этих массовых убийств — значит, «Ильич» крепок... Затем — убийство Урицкого. «Красная газета» пишет: «В прошлую ночь мы убили за Урицкого ровно тысячу душ!» — и Горький выступает на торжественном заседании петербургского «Цика» с «пламенной» речью в честь «рабоче-крестьянской власти», а большевики на две недели развешивают по Петербургу плакаты: «Горький наш!» и ассигнуют ему миллионы на издание «Пантеона всемирной литературы»... Горький берет в подручные Тихонова и Гржебина, и подлая комедия издания «мировых классиков» в стране, заливаемой кровью, грязью и уже заедаемой пещерным голодом и вшами, дает благие результаты: сотни интеллигентов стоят в очередях, продаваясь на работу в этом «Пантеоне»... Авансы текут рекой... Некоторые смущенно бормочут:

«Только, знаете, как же я буду переводить Гёте — я немецкого языка не знаю...»

Но Тихонов успокаивает:

«Ничего, ничего, мы дадим подстрочник, берите аванс...»

Никакого «Пантеона» и доселе нет... Есть только тот факт, что «интеллигенция работает с советской властью», что «умственная жизнь в стране процветает» и Горький на страже ее...

Май 1919 г., советские дела не плохи, в Москве «мировой» съезд третьего Интернационала — и Горький на весь мир трубит славу этому Интернационалу и русским коммунистам — *«честнейшим в мире коммунистам, творящим дивное, планетарное дело!»*. Но к осени того же года положение «честнейших» так плохо, что Горький заявляет:

«Среди них 95 процентов бесчестных грабителей и взяточников!»

Летом 1920 года большевики под самой Варшавой — и Горький закатывает настолько бесстыдный акафист «святому» и даже превзошедшему всех святых в мире «Ильичу», что краснеют все еще не околевшие с голоду советские ломовые лошади. Горький буквально бьется головой о подножие ленинского трона и вопиет: «Я опять, опять пою славу безумству храбрых, из коих безумнейший и храбрейший — Владимир Ильич Ленин!» Он говорит (в петербургских «Известиях»): «было время, когда естественная жалость к народу России заставляла меня считать большевизм почти преступлением... Теперь, когда я вижу, что этот народ умеет гораздо лучше терпеть и страдать, чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному безумству храбрых!» (Нужды нет, что в мае 1919 г. в первом номере «Интернационала» он писал совсем другое:

«Еще вчера мир считал русских за полудикарей, а ныне он видит, что они пламенно идут в борьбу за третий Интернационал!»)

Но Варшава остается цела, «красные львы» в лаптях и босиком дерут без оглядки куда попало — и Горький снова ныряет в люк: возвращается к мирным работам о судьбе русских ученых и огрызается на своего «святого» и даже на Дзержинского: «Нельзя, господа, избивать интеллигенцию — это мозг страны, самое ее драгоценное достояние!» А Ленин с Дзержинским только ухмыляются:

— Поздно, братец, хватился! Мы этот мозг уже вышибли из сотни тысяч черепов! Мы отравили мир ядом своего существования, гноем наглости, зверства, бесстыдства, воровства, лжи, изуверства до такой степени, что теперь уже давно стали смешными эти басни о ценности мозгов! А за всем тем продолжай свои попечения об ученых — *это народ самый безвредный для нас*. И нам спокойно, а тебе прибыльно... на всякий случай...

И вот Горький опять в роли «овода» советской «республики» и в роли печальника о «мозге страны». И уже многие поговаривают о том, что за это ему надо «все простить»... Дело дошло до того, что в зарубежных русских газетах появился открытый призыв г. Ферсмана, петербургского академика, на этот предмет...

О, постыдные, проклятые, окаянные дни!

Ив. Бунин

P.S. В посмертном дневнике Андреева есть такое место: «Вот еще Горький... Нужно составить целый обвинительный акт, чтобы доказать всю преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России... Но кто за это возьмется? Не знают, забывают, пропускают... Но неужели Горький так и уйдет не наказанным, не признанным, «уважаемым»? Если это случится (а возможно, что случится) и Горький сух вылезет из воды — можно будет плюнуть в харю жизни!»

И.Б.

<Июнь 1921, Париж>

ОБ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ

Бедная, беззащитная Эйфелева башня! Как осквернена, обесчещена она, — сколько всяческой мерзости уже приняла она из московского прекрасного далека! И вот опять: радио Горького о голоде...

— «Плодородные равнины России поражены неурожаем из-за засухи...»

Только ли «из-за засухи», советский псалмопевец? А сотни тысяч десятин не запаханых, не засеянных? А ваш пресловутый «революционный порядок», ваши «комбеды», ваше «советское опытное хозяйство», ваши «отобранные излишки», ваши «реквизиции», из-за коих мужики сгноили в земле миллионы пудов зерна, ваше натравливание «бедняков на кулаков»?

А всяческое каиново кровопролитие, уже четыре года вами учиняемое во славу «третьего интернационала», а величайшее в мире ограбление, вами произведенное в России «на цели» этого самого «интернационала», с которым, как поете вы, «воскреснет род людской»?

А то, что сказочные богатства русского народа и несметные частные имущества, вами украденные, все в лоск ухлопаны вами на ваших наемных убийц, на чекистов, на провокаторов, на рекламу, на пропаганду и вообще на всяческий подкуп, подкуп и подкуп?

А то, что миллионы самых крепких, молодых сил употребили вы, как пушечное мясо, как «вооруженные силы» все того же Интернационала?

А то, что у сотен тысяч мужиков не осталось, благодаря вам, ни самой паршивенькой лошаденки, ни самой заваливающей сохи, ни обрывка веревки, ни обломка железа?

А то, что вы дотла разрушили все мосты и дороги, все паровозы и вагоны, сохранив из них только царские — для катанья господ Троцких на фронты, и всяких Иоффе — с дипломатическими поручениями в качестве представителей «рабоче-крестьянской власти», да на европейские курорты для оправления здоровья?

— «Это бедствие угрожает голодной смертью миллионам населения...»

Какой, подумашь, жалостливый! («Ужалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!») А миллионы смертей в голодных, холодных, вшивых, коростовых, тифозных городах и местечках, смертей, уже совершившихся на наших глазах опять-таки во славу «Третьего интернационала», — что же это-то «бедствие» не трогало вас?

Ведь это вы писали *прошлым летом* в своем акафисте Ленину буквально следующее:

«Был момент, когда естественная жалость к народу России заставила меня считать большевизм почти преступлением. Но теперь, когда я вижу, что этот народ умеет гораздо лучше терпеливо страдать, чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному безумству храбрых!»

Что же собственно испытываете вы теперь? Снова «естественную жалость к народу России» — или же надежду, что кормежка Европой этого народа «отдалит от коммунистической шеи давно заслуженную веревку», как выразился на днях А.А. Яблоновский?

— «Русский народ уже и без того сильно истощен последствиями войны...»

Войны, какой, собственно? Той ли — конечно, «проклятой», «капиталистической», — которая для русского народа, по вашим стараниям, кончилась уже три года тому назад «похабным миром», или той, что, конечно, «да здравствует во веки веков!», — то есть войны «гражданской, классовой», проще же сказать, подлейшей из войн.

— «Для народа Льва Толстого, Достоевского, Менделеева и других великих людей наступили тяжелые дни...»

«Наступили!»! Ну, а те-то дни, что длились четыре года во славу «безумства храбрых», те были, значит, ничего себе, дай Бог всякому? Вероятно, так, ибо ведь недаром острили ваши друзья Троцкие, Ленины и Дзержинские: «Это что за голод! Вот когда двадцать человек будут драться из-за одной дохлой крысы — вот это будет голод!» Что же до Толстого и Достоевского, то вам, певцу этих остряков, лучше бы и совсем не заикаться: разве вы не помните, как честили вы Толстого и Достоевского «пошляками» и «мещанами» (буквально так!) осенью 1905 г. в своих статьях «О мещанстве» и в «Новой жизни» Ленина, под редакцией поэта Н. Минского.

Впрочем, довольно и выписок из этой лживой, высокопарной иеремиады и комментариев к ним, — тем более довольно, что дальше этот певец самого грубейшего из всех человеческих учений и самого гнусного, самого бесчестного и самого подлого строя из всех существовавших на земле, осмеливается говорить о «гуманитарных идеях», о низости «безжалостного поведения победителей к побежденному», о «честности» и даже громит «культ золота и глупости» (очевидно только потому, что в коммунистическом «культе» осталась теперь одна глупость, а золото уже все ушло на подкупы и растащено). Я, право, хотел сказать только одно: бедная, беззащитная Эйфелева башня, когда же кончится ее публичный позор, когда наконец перестанут растекаться по всему миру, при ее невольном посредстве, все эти ужасы России и тот моральный гной, которым весь мир отравляют ее «рабоче-крестьянские» правители?

Ив. Бунин

<21 июня. 1921, Париж>

С НОВЫМ ГОДОМ

...Москва, весна восемнадцатого года, гнусный день с дождем, снегом, грязью, пустая Кудринская площадь, плетутся, пересекая ее, чьи-то нищие похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает из-за угла Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, машет огромным револьвером и обдаёт матерщиной и грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие в ужасе шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегом бегут прочь. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет, рыдает так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: — «ну, будет, будет, Бог с тобой!» — я спрашиваю с участием: «родня, верно, покойник-то, сын, муж?» — А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... *Завидую!*

...Блаженны мертвые, блаженны очи не зрящие, уши не слышащие. И все же мы живем и все же надо из последних сил тянуться, чтобы смотреть крепко и строго, чтобы жить сообразно своему человеческому, — все же человеческому! — званию, — ну, хотя бы в силу презрения, брезгливости к низости и зыбкости окружающего нас, — чтобы помнить, что все же будут, — как все-таки всегда бывали, — иные, более человеческие дни, когда каждому воздастся по стойкости и дальновидности его.

Ив. Бунин

<Декабрь, 1921, Париж>

ВЕЛИКАЯ ПОТЕРЯ

Если бы фразы, если бы обычное надгробное красноречие! Но нет, именно так: великая потеря.

О покойном нет двух мнений — это ли не изумительно, в наше время особенно? Даже те, что отделены от нас совсем непроходимой пропастью, даже те из наших врагов, для которых он, поистине рыцарь без страха и упрека, был одним из самых опасных противников, не могли не склониться перед его могилой. Знаю, что они теперь, «накануне», — накануне уже полного российского растления, полного одичания, полного людоедства! — усвоят некоторые новые приемы, стараются блюсти известную благопристойность. Но нет, тут не то. Слишком вы-

сокого благородства и блеска был наш почивший соратник.

Лично я знал его мало, но твердо говорю: из несметного множества людей, навсегда и в числе очень, очень немногих выделяется для меня его прекрасный образ. Та радость, которая охватывала меня при встрече с ним, была результатом всего нескольких свиданий. Но я не сомневаюсь ни на минуту: в этом человеке мне не пришлось бы разочароваться — сколько бы ни продлились наши дни.

Великая потеря, еще одна. Боже, да когда ж конец несчастьям России? Это что-то такое, что начинает внушать почти суеверный страх. Год за годом, день за днем совершенно непрерывная цепь несчастий, потерь. И каких! Если даже какая-нибудь нелепая, дикая случайность, то и то она падает только на Набоковых! Мы не святые, но дело наше все-таки святое, и потому без всякого кощунства можно вспомнить страшную легенду о том, как святой играл в кости с дьяволом за власть над Фиваидой: ни единой удачи за весь день! Иначе, конечно, и быть не могло: дьявол сел на обрыве над Нилом спиной к солнцу, оно его не слепило, он в удачной, мошеннической игре становится все увереннее, все наглее, а у святого слезились глаза, дрожали руки, трепетало сердце, — где ж тут выиграть? Да, но все-таки — за что? Когда конец дьявольскому счастью?

Дай Бог всех благ будущей, «новой» России. Только когда-то наживет она своих Набоковых? У России прежней, старой они были. Ей есть чем гордиться. И, увы, есть о чем скорбеть.

Ив. Бунин

<7 апреля 1922, Париж>

«ГОЛУБЬ МИРА»

Гауптман вдруг затрепетал — он «протестует» против «готовящегося в Москве кровопролития» (казни эсеров). Он в страхе за «несчастные жертвы» — и за Россию: русский народ гибнет от голода, но, слава Богу, его кормят, и в этом добром деле участвует и западный пролетариат: «Пусть же властители Москвы не уничтожат этого движения насилем, которое Западу останется непонятным» (все прочее понятно!) — иными словами, как буквально сказано в женевской газете «Ля Фамин»: «Смерть социалистов в Москве вызовет смерть множества людей на Волге, ибо рабочие Европы помогают русским голодающим *потому, что видят в России страну революции и социальной эманси-*

паци, а казнь социалистов будет для них холодным душем», — это ведь только от нас, буржуев, требуется быть «вне политики», когда речь идет о голодающих! Кончает Гауптман со всем <блеском> «высокого» стиля: «Пусть заповедь «не убий» снова сделается священной! Я выпускаю этого голубя мира в Москву — и пусть он вернется с масличной ветвью в клюве!»

Да, все слова сказаны.

Да, «я, человек, воистину стыжусь теперь поднять глаза мои на животных», как сказал мне один сербский епископ...

Четыре года реками, морями текла кровь в России, — давно ли сама Чека опубликовала, что, по ее подсчету, — только по ее подсчету! — казнено около двух миллионов душ. Гауптман, друг пролетариата, «несущего в мир новую, прекрасную жизнь», не проронил ни словечка. Четыре года пожирала Россию — и отравили до мозга костей на многие поколения! — пещерный голод, тьма, холод, вши, тиф, чума, холера, сифилис моральный и физический, жестокость, низость, воровство, гомерическое сквернословие — и все в таких размерах, что и у гориллы стала бы шерсть дыбом. Гауптманы молчали или только кивали головой на уверения «русской демократии», что все это пустяки по сравнению с величием «великой русской революции» и что надо «верить в великий русский народ и его светлое, демократическое будущее»... Разрывались крестными ранами, неизгладимыми, несказанными, горше всякой казни, миллионы русских сердец, на глазах которых в прахе растоптаны были все уставы Божеские и человеческие, убиты сыновья, матери, братья, жены, обещано все самое святое и кровное, там «на потребу» выброшены мощи, перед которыми мириады людей находили величайшие в мире слезы и надежды, казнены «смертью лютой, надругательной» сотни священнослужителей и на днях еще — за один словесный протест против разбойного грабежа алтарей на штаны Красину — осуждены на смерть митрополит Вениамин, епископ Бенедикт и десятки священников: Гауптманы молчали и молчат. Но вот, наконец, настоящая страшная весть: социалисты в опасности! И уста разверзаются: «Лети, лети, голубь мира!»

— Ей, Господи! стыжусь поднять глаза на скота, на животное!

Ив. Бунин

<31 мая 1922, Париж>

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Это не полемика, не политика, а уж чисто литературная заметка, имеющая, к сожалению, вовсе не злободневный, а постоянный интерес.

Приехала в Париж Е.Д. Кускова в очень добром настроении, а я, удрученный ее же собственными сообщениями о России, приуныл, — только и всего, — а газета П.Н. Милюкова оттрепала меня за вихор за мое уныние: поглумилась над моей «почтенностью» («почтенный беллетрист»), пожурела за «раздраженность», — точно нет ни малейших причин у нас раздражаться! — возмутилась, что я лезу в политику, когда у меня есть «определенное место в литературе», и припечатала: «обыватель», сам себя зачисливший несогласием на бодрость Кусковой «в определенный лагерь», — очевидно, очень преступный и позорный, — обыватель, нашедший себе «единственный приют» в «Слове», которое, однако, «skonфузилось за него...» Как же не отметить в литературной летописи это любопытное зрелище, — г-н Икс из «Последних новостей» дерет за вихор г-на Бунина! — и как не впасть опять в уныние: уж очень старо и постыдно это зрелище!

«К старому возврата нет!» Да нет, в том-то и беда, что во многом мы ужасно застарели (и сами это чувствуем — иначе не трепетали бы так, например, насчет «реакции», «реставрации»). Очень, повторяю, стара и типична и вот эта маленькая история моя, — в этом вся и сила, а, конечно, не в Иксе.

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» — это давно сказано, грубо и даже неумно сказано, а как пришлось ко двору. Знал человек, что угодит кому надо, и угодил надолго. Но и гражданином предписали быть только масти определенной, — те из исполнявших гражданскую обязанность, которые оказывались масти неподходящей, платились жестоко: их немедля понижали даже в поэтических чинах, а порой и совсем лишали всех чинов и званий, их начинали терроризировать, чернить в глазах публики, их ставили «к стенке», ссылали в бессрочную ссылку — и все без всяких разговоров, «на месте», «по законам революционного времени», то есть без всяких «судоговорений», а, главное, даже за малейшую провинность: чуть что не так, не на пользу «революционному народу», не в лад с «рабоче-крестьянскими вождями» — «в расход!». И сколько писательских душ было развращено и погублено этим террором! И какое множество писателей, — из тех, что не желали поддаваться этому развращению, — несло иногда целыми десятилетиями свою ссылку, моральную

смерть! Скольких сопричислил этот скорый и немилостивый «ревтрибунал» к отверженному лику «реакционеров»!

Да, это история старая и страшная (вообще, г-н Икс, а не для меня, — меня-то не запугаете!). И никому-то даже и в голову не пришло задаться вопросом, право, довольно серьезным и сложным: да почему же это были (или, по крайности, казались, именовались) «реакционерами» Гёте, Шиллер, Андре Шенье, Вальтер Скотт, Диккенс, Тэн, Флобер, Мопассан, Державин, Батюшков, Жуковский, Карамзин, Пушкин, Гоголь, Аксаковы, Киреевские, Тютчев, Фет, Майков, Достоевский, Лесков, гр. А.К. Толстой, Л. Толстой, Гончаров, Писемский, Островский, Ключевский, даже и Тургенев, не раз не угождавший «молодежи» — и почему так высоко превознесены были Чернышевский со своим романом, Омулевский, Златовратский, Засодимский, Надсон, Короленко, Скиталец, Горький?

Вот теперь стали «реакционерами», «обывателями», «врагами народа», «бурцевскими молодцами» и мы — Куприн, Мережковский, Гиппиус, Чириков... Ну, что же, не пропадем, только разве это не явное подражание большевикам, для которых мы, конечно, только «белогвардейская сволочь», только умно ли это — шельмовать всех поголовно? Кто ж тогда с вами, господа Иксы, останется? «Народ»? А кто этот народ? «Обыватель», — хотя ума не приложу, чем обыватель хуже газетного сотрудника, — обыватель не народ, «белогвардеец» не народ, «поп» не народ, купец, бюрократ, чиновник, полицейский, помещик, офицер, мещанин — тоже не народ; даже мужик позажиточней и то не народ, а «паук, мироед». Но кто же остается? «безлошадные?» Да ведь и «безлошадные», оказывается, одержимы теперь «чувством собственности» — и что было бы делать, если бы уцелели в России лошади, если бы уже не поели их?

Вы бодритесь и гневаетесь:

— Не всех еще поели, не радуйся, реакционер!

Да что ж, вон и Горький когда-то гневался на газету «Таймс»:

— Напечатана мрачная глупость, будто в России едят суп из человеческих пальцев!

Впрочем, тут я ставлю точку. Это уже «политика», а ведь теперь новый приказ: будь поэтом и не суйся в граждане.

Ив. Бунин

<28 августа 1922, Париж>

МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

(Речь, произнесенная в Париже 16 февраля)

Соотечественники.

Наш вечер посвящен беседе о миссии русской эмиграции.

Мы эмигранты, — слово «émigrer» к нам подходит как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному: к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с некоторых пор в России, были в том или ином несогласны, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия — это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во французских толковых словарях сказано: «Миссия есть власть (pouvoir), данная делегату идти делать что-нибудь». А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы представляем за кого-то? Цель нашего вечера — напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине ничемным и даже зазорным. Наша цель твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите из этого громадного числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем незаметно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) нынешних владык России, суть, однако, их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих лишь с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас: останется все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша еще далеко

не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это *нечто* заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, Божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и то нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить дома и гробы отчие, часто поруганные, оплакивать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и замученных, лишиться всяческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!»

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России, — были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц. Однако это не все, русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне *сознательно и действительно* против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязающего на мировое владычество, сотни тысяч противоборствовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими *смертями* запечатлели свое противоборство — и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого противоборства. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени надо нам действовать и представлять? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще — от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребреников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой

нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся тому римскому солдату, который поднес к устам Распятого губку с уксусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские *«внутренние дела»*, то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что *узаконяет* этот погром. И вновь, и вновь исполнилось таким образом слово Писания: «Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же оттого не станут тучнее... Вот темнота покроет землю и мрак — народы... *И лицо поколения будет собачье...*» Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России нечем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе, и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру, взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних Божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, вовеки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется,

возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что произошло? Как ни безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все мы грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая «планетарным» злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума, — сам министр-президент на московском совещании в августе 17 года заявил, что уже зарегистрировано, — только зарегистрировано! — *десять тысяч* зверских и бессмысленных народных «самосудов». А что было затем? Было величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшееся с убийства Духонина и «похабного мира» в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить семь заповедей Ленина. И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самую Святая святых своей родины, в место того страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение? Это он будет державным хозяином всея новой Руси, осуществившим свои «заветные чаяния», за счет соседа, зарезанного им из-за полдесятины лишней «земельки»? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка Ключевского: «Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампы над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры». Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты, и лампы погашены. Но без этих лампад не бывать русской земле — и нельзя, *преступно служить ее тьме.*

Да, колеблются устои *всего* мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Ан-

27. XII. 49. Милый Яшк^{ов}
сейчас пришло В. Ильин^о
от 23 Дек. Знаешь "Ир
та Лей" будет напечатано
(если Майка парз не погрела)
будет добры напечатано
подвалом — и вытер книгу
по слободной фразе: "Умерт
онх не только рать..." и
т.д. — Это лишнее.

Это уткнул мои стихи, —
квально! Они на редкость
блескуют — какая естествен
ность, звонка, как я реч
мы! Еще никто так не
писал! Мерси, мерси!
Пишу в посылки — все славно,
все дальше задыхаюсь...
Цтльмуть и Цв. Б

тихрист уже мечтает о своем узаконении даже самым римским наместником Христа. Мир одержим еще не бывалой жадной корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморре. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют, Содом и Гоморра ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобрести власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гоморру, как войти в бывший царский дворец или хотя бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников «новой» жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устройства человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу — тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу «опиума религии», дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: «Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!» Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву —
Под руки и по Тверскому...
Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной...

И если все это соединить в одно — и эту матерщину, и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка и его высовывающийся язык, и его красный гроб, и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу: ведь ноги-то раскорячиваются действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев, — так всегда бывало. «Се Аз восстану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря...» И на Содом и Гоммору, на все эти Ленинграды падет огонь и сера, а Сион, Селим, Божий Град Мира, пребудет вовеки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!» Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его, — это наше право и даже наш долг, — и расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. «Они не хотят ради России претерпеть большевика!» Да, не хотим — можно было претерпеть ставку Батя, но Ленинград нельзя претерпеть. «Они не прислушиваются к голосу России!» Опять не так: мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: «Ах, ах, тра-та-та, без креста!» — и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего воссияния. Пылала! Не пора ли оставить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политичес-

кую риторику, эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. «Народ не принял белых...» Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: не принимал хулиган да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленное.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней!

Один из недавних русских беженцев рассказывает между прочим в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрению, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебываясь от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, — да святится вовеки его память! Под триумфальными воротами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те ворота, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо тот гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для несправедливого времени сего и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа. «Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!» Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, — когда Бог переменит орду!»

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный мир» с нынешней ордой.

Ив. Бунин

Р.С. 16 февраля в Париже был вечер, посвященный беседе «о миссии русской эмиграции», — публично выступали с речами на эту тему Карташев, Мережковский, Шмелев, проф. Кульман, студент Савич и пишущий эти строки. «Миссия русской эмиграции» есть вступительное слово, прочитанное мною в начале беседы. Я обратился к редакции «Руля» с просьбой напечатать его с той целью, чтобы хотя несколько опровергнуть кривотолки, которым подвергся в печати, а, благодаря ей, отчасти и в обществе весь этот вечер. Теперь по крайней мере хоть некоторые будут точно знать, что именно сказал я, наметивший, по выражению органа П.Н. Милюкова, зачинщика этих кривотолков, «все главные мысли и страшные слова, которые повторяли потом другие ораторы». И пусть теперь всякий здравомыслящий человек с изумлением вспомнит все то, что читал он и слышал о наших «страшных словах».

Началось с передовой статьи и отчета о вечере в «Последних новостях», от 20 февраля. Отчет (под заглавием «Вечер страшных слов») больше всего отвел места мне, вполне исказил меня, приписал мне нелепый призыв «к божественному существованию» и претензию на пророческий сан, сообщил, как мало я похож на пророка «со своим холодным блеском нападок на народ», и весьма глумился и над всеми прочими участниками вечера, тоже будто бы желавшими пророчествовать, но оказавшимися совершенно неспособными «подняться на метафизические высоты». А передовая статья была еще удивительнее и походила просто на бред. Она называлась «Голоса из гроба» и говорила следующее:

«Писатели, принадлежащие к самым большим в современной литературе, те, кем Россия по справедливости гордится... выступили с проповедью почти пророческой, в роли учителей жизни, в роли, отжившей свое время... Они самоопределились политически... соединились с Карташевым и не ему передали свою политическую невинность, а себя впервые окрасили определенным цветом. Они говорили против политики — за внутренний категорический императив и за Христа... очевидно твердо верили, что, подобно пророкам, высоко вознеслись над мелкими злобами дня, на деле же принесли с собой только лютую ненависть к своему народу, к *целому* народу, и даже хуже — презре-

ние, то есть чувство аристократизма и замкнутости... Что значит их непримиримость? Непримиримость к чему? К кому?»

Мы, будто бы притязавшие быть пророками, — которым будто бы ненависть не подобает, — мы очень просто и твердо говорили, к чему именно проповедуем мы непримиримость. Но П.Н. Милюков все-таки почему-то счел нужным спрашивать — и ответил за нас сам, поставив во главу угла опять-таки меня, ни с того, ни с сего смешав мою речь с моими последними стихами и рассказами. Прочтите, сказал он, стихи Бунина в «Русской мысли» и его рассказ «Несрочная весна» в «Современных записках»: «это все непримиримость с новой жизнью, тоска о прошлом — и гордость: я, мол, генеральская дочь, а там только титулярные советники...» (Да, пусть не протирают глаза читатели «Руля»: я цитирую буквально.) А затем так же смело было поступлено и со всеми прочими участниками вечера («таков Бунин и таковы и все прочие — все они дышат страхом и злобой ко всему, что продолжает жить вопреки им») — и дело было сделано: до неправдоподобности странная передовая статья положила прочное основание легенде о кровожадных и вместе с тем пророчески призывающих «к божественному существованию» мертвецов, которыми будто бы оказались мы. За ней, за этой статьей, последовало еще немало подобных же строк (даже статей — «Пастыри и молодежь», «Апостольство или недоразумение», «Религия и аполитизм» и т.д.), нашедших отклик в Праге и даже в Москве. И легенда все растет, и вот какой-то г. Быстров доходит уже до того, что утешает «Последние новости» насчет общественного влияния того самого вздора, который ими же самими и выдуман: не бойтесь, говорит он в номере от 25 марта, молодежь не пойдет за этими писателями, «ставшими за границей публицистами и на сто лет от жизни отставшими!».

Думаю, что читатель «Руля» не посетует на то, что появляется наконец в печати один из подлинных документов страшной и зловредной отсталости от века, проявленной в Париже 16 февраля (а 5 апреля имеющей быть продолженной), и не сочтет за личную полемику мою приписку к этому документу: дело имеет все-таки некоторый общий интерес. И тем более имеет, что в московской «Правде» от 16 марта уже появилась статья, почти слово в слово совпадающая со всем тем, что писалось о нас в «Последних новостях». Московская «Правда» тоже страстно жаждет нашей смерти, моей особенно, для видимости беспристрастия тоже не скупясь в некрологах на похвалы. Она сперва сообщила, что я на смертном одре в

Ницце, потом похоронила меня (а вместе со мною Мережковского и Шмелева) по способу «Последних новостей» — морально. В «Правде» статья озаглавлена «Маскарад мертвецов», и в статье этой есть такие строки: «Просматривая печать белой эмиграции, кажется — какой прекрасный русский язык! — кажется, что попадаешь на маскарад мертвых...»

«Бунин, тот самый Бунин, новый рассказ которого был когда-то для читающей России подарком, позирует теперь под библейского Иоанна... выступает теперь в его черном плаще... как представитель и защитник своего разбитого революцией класса... Это особенно ярко сказывается в его последних произведениях — в рассказе «Несрочная весна» и в стихах в «Русской мысли»... Здесь он не только помещик, но помещик-мракобес, эпигон крепостничества... Он мечтает, как и другой старый белогвардеец, Мережковский, о крестовом походе на Москву... А Шмелев, приобщившийся к белому подвижничеству только в прошлом году, идет еще дальше: один из значительных предреволюционных писателей, он не крепостник, а народник... Для него «народ» кроток и безвинен, сахарная бонбоньерка, крылатый серафим... и он во всем обвиняет интеллигенцию и московский университет, недостаточно усмиренный в свое время романовскими жандармами...»

«Вообще выступление этих трех писателей, по сравнению с которым даже «Вехи» 1907 г. кажутся безвинной елочной хлопушкой, вызвало в эмиграции широкий отклик. Даже седенький профессор... назвал это выступление в своей парижской газете *голосами из гроба...*»

Ив. Бунин

Париж, 29 марта 1924 г.

ИНОНИЯ И КИТЕЖ

К 50-летию со дня смерти гр. А.К. Толстого

Полвека со дня смерти гр. Алексея Константиновича Толстого.

Каждое воспоминание о каждом большом человеке прежней России очень больно теперь и наводит на страшные сопоставления того, что было и что есть. Но поминки о Толстом наводят на них особенно.

Вот я развернул книгу и читаю:

Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед —
И ахнул от ужаса русский народ:
Ай рожа, ай страшная рожа!

Что это такое? Это из баллады Толстого о Змее-Тугарине, это рожа певца, нахально появившегося на пиру киевского князя Владимира, рожа той «обдорской» Руси, которую он пророчит, которая должна, по его слову, заменить Русь киевскую. Мысль о том, «чтоб мы повернулись к Обдорам», кажется князю и его богатырям так нелепа, что ни только смеются:

Нет, шутишь! Живет наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

Но «рожа» не унимается. Вам, говорит она, моя весть смешна и обидна? А все-таки будет так. Вот, например, для вас теперь честь, стыд, свобода суть самые бесценные сокровища:

Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече — каганская воля!

И пророчество это, как известно, исполнилось: через долгую «обдорскую» кабалу, через долгое борение с нею пришлось пройти Руси. И кончилось ли это борение? Один великий приступ Русь «перемогла». Но вот надвинулся новый и, быть может, еще более страшный. Далеко той, прежней роже, что бахвалилась на пиру в Киеве, до рожи нынешней, что бахвалится на кровавом пиру в Москве, где «бесценными сокровищами» объявлены уже не честь, не стыд, не свобода, а как раз наоборот — бесчестье, бесстыдство, каганский кнут, где «рожа» именуется уже солью земли, воплощением, идеалом «новой» России, ее будто бы единственно настоящим ликом, — в противовес России прежней, России Толстых, — и именуется не просто, а с величайшей и даже мессианской гордостью: «Да, скифы мы с раскосыми глазами!» или, например, так:

Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивных свет...
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюма вам,
Что имя Ленина шумит, как ветер, по краю...

Эти хвастливые вирши, — прибавьте к ним заборную орфографию, — случайно попавшие мне на глаза недавно и принадлежащие некоему «крестьянину» Есенину, далеко не случайны. Сколько пишется теперь подобных! И какая символическая фигура этот советский хулиган, и сколь многим теперешним «болванам», возвещающим России «новую эру», он именно чета, и сколь он прав, что тут действительно стоит роковой вопрос: под знаком старой или так называемой новой «эры» быть России и обязательно ли подлинный русский человек есть «обдор», азиат, дикарь или нет? Теперь все больше входит в моду отвечать на этот вопрос, что да, обязательно. И московские «рожи», не довольствуясь тем, что оне и от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами. Посмотрите на всех этих Есениных, Бабелей, Сейфуллиных, Пильняков, Соболей, Ивановых, Эренбургов: ни одна из этих «рож» словечка в простоте не скажет, а все на самом что ни на есть руссешем языке:

— Никла Ильинка монашенькой постной, прежняя де-белая, румяная, грудастая бабеха... (Соболь)

— По Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка... (Пильняк)

А некоторые умники в Берлине, в Париже, в Праге тают от умиления: «Ах, говорят они, ах, какой сочный, ядреный русский язык, какая истинно национальная Русь прет теперь из русского чернозема, и как жадно должны мы ловить свет именно оттуда, и какое обилие там, — только там! — таланта, жизни, молодости».

Да, «страшная рожа» опять среди нас. Тщетно возмущаемся мы:

Она продолжает, ослабивши пасть:

.....
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной поссоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!»

Толстой называл себя «певцом, державшим стяг во имя красоты». Он был, как один из его любимейших образов, как Иоанн Дамаскин, «борец за честь икон, художества ограда». На «рожу» он смотрел глазами древней христианской Руси: это воплощение всего бусурманского, дьявольского, воплощение мерзости и безобразности (то есть того, что образа, устройства и гармонии не имеет), безобразнос-

ти и мерзости не только внешней, но и внутренней. А Красота, Лик были для него воплощением Божественного, того, что творит, устрояет, обладает искусством (покоряющим бесформенность).

«Красота, прекрасное, как справедливо сказал о Толстом Вл. С. Соловьев, была для него дорога и священна, как отблеск вечной Истины и Любви», как нечто, идущее из самобытного мира вечных идей или первообразов. «Божество, говорит Соловьев, *обладает* полнотой совершенства. Человек, совершенствуясь, *достигает* его. Человек есть самостоятельная особь и кроме того часть всемирного целого. И он должен совершенствоваться и самого себя, — личной любовью, — и содействовать совершенству целого, — патриотизмом, чувством солидарности с целым... В поэзии Толстого мотивы любви и патриотизма наиболее характерны... Патриотизм есть желание блага целому — народу, государству, отечеству... Но в чем именно благо отечества? Сам по себе патриотизм может быть источником и добра, и зла... Нужно еще патриотическое *сознание*, различающее истинное благо отечества от ложного. И та степень патриотического сознания, которая была у А. К. Толстого, до сих пор остается *высшей*... Со всей живостью поэтического представления и со всей энергией борца за идею Толстой славил свой идеал истинно русской, европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар азиатского деспотизма... Начало истинного национально-го строя он находил в киевской эпохе нашей истории...

Он мерил благо отечества высшей мерой. И он не ошибался: нам нужно развитие тех христианских истинно-национальных начал, что было обещано светлыми явлениями Киевской Руси...»

Гр. А. К. Толстой есть один из самых замечательных русских людей и писателей, еще и доселе недостаточно оцененный, недостаточно понятый и уже забываемый. А ведь меж тем ценить, понимать и помнить подобных ему надо в наши дни особенно. Ведь существование нации определяется все-таки не материальным (так что восхищаться, например, тем, что Россия «будет мужицкой», по меньшей мере странно). Россия и русское слово (как проявление ее души, ее нравственного строя) есть нечто нераздельное. И не знаменательно ли, что нынешнему падению России, социальному, политическому и всякому прочему, не только сопутствует, но задолго предшествовал упадок ее литературы, когда всякое непотребство стало называться дерзанием, а глупость и истеричность — священным безумием, когда всяческий распад, то есть нечто совершенно противоположное искусству, — сцеплению, устройению, — и вся-

ческие «искания» (то есть как раз то, что не есть искусство и что художник должен скрывать в своей мастерской) были столь бесстыдно прославлены самими же представителями всего этого, не менее бесстыдно, чем славит себя теперь большевизм, являя таким образом одну из самых характерных черт дикарства, необыкновенно хвастливого, как известно?

Теперь «новое» искусство сменилось новейшим. Вот «поэты-пролетарии»:

Сорвали мы корону
Со старого Кремля..
Лучами мажем нервы
И мускулы машин...
За заборами *низкорослыми*
Гребем мы огненными веслами...

Вот «футуристы»:

Белогвардейца — к стенке.
А Рафаэля забыли?
А почему не атакован Пушкин?

Вот какие-то «супрематисты»:

Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрав...
Исуса — на Крест, а Варраву —
Под руки по Тверскому!

Вот «имажинист», сам себя рекомендующий:

Я бумажка в клозете...

И вот, наконец, опять «крестьянин» Есенин, чадо будто бы самой подлинной Руси, вирши которого, по уверению некоторых критиков, совсем будто бы «хлыстовские» и вместе с тем «скифские» (вероятно потому, что в них опять действуют ноги, ничуть, впрочем, не свидетельствующие о новой эре, а только напоминающие очень старую пословицу о свинье, посаженной за стол):

Кометой вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиною...
Проклинаю дыхание *Китежа*,
Обещаю вам *Инонию*...

И когда говорят: стоит ли обращать внимание на эту «рожу», на это «мессианство», столь небогатое в своей изо-

бретательности, знакомое России и прежде по базарным отхожим местам? Увы, приходится. И тем более приходится, что ведь, повторяю, некоторые пресерьезно доказывают, что именно из этих мест и воссияет свет, Инония.

Инония эта уже не совсем нова. Обещали ее и старшие братья Есениных, их предшественники, которые, при всем своем видимом многообразии, тоже носили на себе печать в сущности единую. Ведь уж давно славили «безумство храбрых» (то есть золоторотцев) и над «каретой прошлого» издавались. Ведь Пушкины были атакованы еще в 1906 году в газете Ленина «Борьба», когда Горький называл «мещанами» всех величайших русских писателей. Ведь Белый с самого начала большевизма кричит: «Россия, Россия — Мессия!» Ведь блоковские стишки:

Эх, эх, без креста,
Тратата! —

есть тоже «инония», и ведь это именно с Есениными, с «рожками», во главе их, заставил Блок танцевать по пути в Инонию своего «Христосика в белом венчике из роз». Ведь это Блок писал: *«Народ, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам. Вполне понятно: ведь там туполобый, ожиревший поп сто лет, икая, брал взятки и водкой торговал...»*

— Конь мой, конь, славянский конь! — восклицал Толстой когда-то:

Конь несет меня лихой,
А куда? не знаю!
Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кийсак
С бритой головою
Молча свой натянет лук,
Лежа под травую,
И меня догонит вдруг
Меткою стрелою?
Иль влечу я в светлый град
Со Кремлем престольным?
В град, где улицы гудят
Звоном колокольным?

Теперь ответ на этот вопрос дан: киргизская рука делает свое дело, и перед нами уже не светлый град, не Китеж, а именно он, голый солончак. Но неужели это конец? А если нет, то что дальше? В страшной современности, где возобладал «киргиз», не найти спасительных указаний, русское слово почти умолкло в этой печенежской степи, где высится Тмутараканский Болван, где «лисы лают на русские щи-

ты» (как лают оне, увы, и в эмигрантском стане). При всей своей ничтожности, современный советский стихотворец, говорю еще раз, очень показателен: он не одинок, и целые идеологии строятся теперь на пафосе, родственном его «пафосу», так что он, плут, отлично знает, что говорит, когда говорит, что в его налитых самогоном глазах «прозрений дивных свет». При всей своей нарочитости и зараженности литературщиной, он кровное дитя своего времени и духа его. При всей своей разновидности, он может быть взят за одну скобку, как кость от кости того «киргиза», — как знаменательно, что и Ленин был «рожа», монгол! — который ныне есть хозяин дня. Он и буянит, и хвастается, и молится истинно по-киргизски: «Господи, отелись!» И стоя среди российского солончака, имитируя Пушкина, играя заигранным словечком Герцена, некоторые бахвалятся: «Да, скифы мы с раскосыми глазами!»

Скифы! К чему такой высокий стиль? Чем тут бахвалиться? Разве этот скиф не «рожа», не тот же киргиз, кривоногий Иван, что еще в былинные дни гонялся за конем сраженного Святогора? Правильно тут только одно: есть два непримиримых мира: Толстые, сыны «святой Руси», Святогоры, богомольцы града Китежа — и «рожи», комсомольцы Есенины, те, коих былины называли когда-то Иванами. И неужели эти «рожи» возобладают? Неужели все более и более будет затемняться тот благой лик Руси, коего певцом был Толстой?

Толстой говорил: «Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия; это не тенденция, это я сам. Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы!» Так говорил он не раз, праведно чувствуя, что весь он и как поэт, и как человек есть порождение Руси славянской, а не обдорской, не киргизской. И не раз возмущался:

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть середины,
Нигилисты же хлопчут,
Чтоб мы сделались скотины...

Теперь мы среди вящих, неустанных хлопот подобного рода. Будем же крепко помнить о Толстых среди «монгольского» засиления и наваждения!

«Откуда вы взяли, что мы монголы?» В самом деле: откуда это, будто наиболее подлинный образ русского народа есть кривоногий и раскосый Иван с его Инонией, — иначе говоря, с простым, старым, как мир, дикарством, —

а не Святогор? «Я мужик, и посему я Русь!» — кричит Иван. Да, но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь. И след ли Иванам бахвалиться рядом с такими мужиками, как Ломоносов, Кольцов, с такими русскими, как Толстые?

Рос и воспитывался Толстой у дяди по матери, у Перовского, в медвежьей Черниговщине, но уже восьми лет, через поэта Жуковского, был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым и остался в большой близости и дружбе на всю жизнь. Так же противоположно пошло и дальше: то черниговская глушь, то Петербург и Европа — отрочество Толстой почти сплошь провел в заграничных путешествиях с матерью и дядей, горячим поклонником Запада и западного искусства. И в отрочестве судьба осчастливила его еще тем, что он был с дядей у Гёте, в его веймарском доме, и сидел у Гёте на коленях. В молодости, пройдя прекрасное домашнее воспитание и выдержав экзамен при университете по словесности, он был причислен к русской миссии в Германии, затем служил в Петербурге и вел жизнь то деревенскую, дикую, охотничью, то столичную, очень светскую и шумную, выделяясь в толпе своими связями, родственными и придворными, и в то же время независимостью от них, блеском ума, остроумия, дружбой с художниками и писателями и вместе с тем дружбой с Наследником Престола, а кроме того, своей простонародной наружностью и силой, истинно богатырской: он, например, легко ломал конские подковы. Покорил ли его себе свет? Нет:

Сердце, сильней разгораясь от года к году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду...
Буду кипеть, негодуя тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодной сталью!

Во время крымской кампании Толстой пережил высокий патриотический подъем, добровольно поступил в армию и едва не погиб в тифу, от которого его спас только его необыкновенный организм, царское внимание и уход его будущей супруги, той, к кому обращены строки, — ныне столь известные, полные неувядающей прелести:

Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты...

После крымской кампании Александр II назначил Толстого своим флигель-адъютантом, но Толстой, полагавший единственной целью всей своей жизни свободное служение искусству и уже давно страдавший от своей все же

далеко не полной свободы, от своих обязанностей по Двору, отклонил от себя эту новую царскую милость: поступок житейски совершенно необычайный. Тогда ему дали звание Императорского Егермейстера, почти ни к чему его не принуждающее, и он повел жизнь, уже всецело посвященную поэзии, семье, охоте, деревне. В деревне, в черниговском поместье, он и умер — 28 сентября (11 октября) 75 года. И незадолго до смерти «странное», по его выражению, событие произошло с ним, событие, о котором он сам рассказывал в письме к своему другу, княгине Витгенштейн:

«Со мной случилась недавно странная вещь: так как я не мог (от удушья) ни лечь, ни спать сидя, то как-то ночью я принялся за одно маленькое стихотворение. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли спутались и я потерял сознание. Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что написал: бумага лежала передо мной, карандаш тоже, а вместе с тем я не узнал ни единого слова в моем стихотворении. Я начал искать, переворачивать бумаги — и так и не нашел моего стихотворения. Пришлось сознаться, что писал я бессознательно, совершенно бессознательно, а вместе с тем мною овладела какая-то мучительная боль, которая состояла в том, что я напрасно хотел *вспомнить что-то*. Я уже три раза в жизни пережил это чувство — хотел уловить какое-то неуловимое воспоминание — и оно, это чувство, было всегда, как и на этот раз, очень тяжело и страшно. Стихотворение, которое я написал бессознательно, начинается так: «Прозрачных облаков спокойное движение...»

Немногим, думаю, известен этот предсмертный случай с Толстым и немногими оценен как следует. А меж тем он с особенной силой свидетельствует об одной из самых существенных черт природы и таланта Толстого: о том, как вообще было много в этой натуре того, о чем говорят: Божьей милостью, а не человеческим хотением, измышлением или выучкой.

«С шестилетнего возраста, говорит Толстой в своей литературной исповеди, начал я мараить бумагу стихами... Но и независимо от поэзии я всегда испытывал непреодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или другая картина или статуя или прекрасная музыка на меня производили такое сильное впечатление, что у меня волосы буквально поднимались на голове. Мне было тринадцать лет, когда я с родными сделал первое путешествие по Италии. Изобразить всю силу моих впечатлений и весь переворот, совершившийся во мне, когда открылись душе моей сокровища искусства, невозможно...»

И далее:

«Мое первое отроческое путешествие началось с Венеции, где мой дядя сделал большие художественные приобретения. Между прочим им был куплен бюст молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю. Когда статую перенесли в наш отель, я не отходил от нее. Я вставал ночью посмотреть на нее, и мое воображение мучили нелепейшие страхи. Я задавал себе вопрос, что мне делать, если вспыхнет пожар, и делал опыты, могу ли я унести статую. Из Венеции мы отправились в Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь, и мой восторг и любовь к искусству все возрастали; дело дошло до того, что по возвращении в Россию, я впал в тоску по Италии, в настоящую «тоску по родине», — доходил до отчаяния, которое заставляло меня днем и ночью рыдать, когда мои сны уносили меня в мой потерянный рай. После же этой страсти вскоре начало развиваться во мне нечто такое, что с первого взгляда может показаться противоречием: это была страсть к охоте. Я предавался ей с таким жаром, что посвящал ей все мое свободное время. В ту пору я состоял при Дворе Императора Николая Павловича и вел весьма светскую жизнь, которая была для меня не без обаяния, но я часто ускользал от нее, чтобы пропадать целыми неделями в лесах. Я отдался очертя голову этой стихии — и стихия эта и моя любовь к нашей дикой природе отразились на моей поэзии, быть может, почти столько же, как и чувство пластической красоты...»

И точно, Толстой поражает наличием самых противоположных по форме и по темам созданий. Вот Иоанн Дамаскин, молящий своего повелителя:

— О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!

Вот Поток, богатырь из Киева, который пляшет на пиру у князя Владимира:

В Заднепровье слышался лешего вой,
По конюшням дозором пошел домовый,
На трубе ведьма пологом машет,
А Поток себе пляшет и пляшет...

А за Потокom следует «Дракон», итальянские терции, от которых не отказался бы сам Данте, за «Драконом» — драматическая поэма «Дон Жуан», а далее — русская драматическая трилогия во главе со «Смертью Грозного»... Вот переводы из Гёте, Шенье, Байрона — и русские были, то величавые, как голос веков, то полные того русского удальст-

ва, которое «по всем жилушкам переливается». Вот «летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод», а вот:

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле! —

и потрясающая баллада о волках:

Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян,
И седой забелеет
Над болотом туман...

И просто не верится после этой баллады, что та же рука писала: «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «Вот уж снег последний в поле тает» или эту знойную роскошь Крыма:

Клонит к лени полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук...

Что есть у какого-нибудь Есенина, Ивана Непомнящего? Только дикарская страсть к хвастовству да умение плевать. И плевать ему легко. Это истинный Иван Непомнящий. В степи, где нет культуры, нет сложного и прочного быта, а есть только бродячая кибитка, время и бытие точно проваливаются куда-то, и памяти, воспоминаний почти нет. Другое дело Толстые. Как замечательны слова Толстого о той боли, с которой он старался «вспомнить» что-то после обморока! О, Толстым есть что вспомнить! А воспоминание, — употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле — живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми «консерваторами», то есть хранителями, приверженцами прошлого. Оттого-то и рождает их только быт, вино старое. И оттого-то так и священны для них традиции, и оттого-то они и враги насильственных ломок священной растущего древа жизни.

Произведения Толстого есть лучшее доказательство богатства его природы и ее разносторонности, столь отличной от искусственной и бездушной «многогранности» наших современников. В этих произведениях много и прямых са-

мохарактеристик: «Коль любить, так без рассудку...», «Господь, меня готовя к бою, мне душу пылкую вложил, но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил...», «Двух станов не боец, а только гость случайный...», «Что ни день, как поломя со влагой, так унынье борется с отвагой...». И самохарактеристики эти лишней раз подтверждают, что это была натура все-таки прежде всего русская, что поэзия Толстого есть действительно «русский глагол». А самохарактеристики в его письмах, дневниках? Вот его чудесное письмо к жене:

— Я верю в Бога всецело и безгранично... Нам, быть может, еще много лет жить на этой земле — будем же стараться быть лучше и *достоинее*...

— Я не хозяин... Я уже давно утратил чувство собственности, если только я когда-нибудь имел его...

— У меня чувство роскоши очень развито. Я люблю, чтобы были великолепные дворцы, художественные шедевры, но сам я не люблю их иметь. Я их люблю, я ужасно страдаю, когда их портят, когда ими пренебрегают, но сам я ни за что не согласился бы жить в роскошном дворце. Луи Блан проповедует коммунизм и против роскоши, а сам ест дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья...

— Мой ум под влиянием страстей, но он направлен к добру, к прекрасному, к искусству...

— Я не знаю, как это делается, но почти все, что я чувствую, я чувствую художественно...

— Я не знаю, как другие пишут, но у меня при приближении звуков волосы поднимаются и слезы брызгают из глаз...

— Одно время, в молодости, я всецело жил в веке Медичи, я принимал к сердцу произведения этого столетия с таким чутьем, пылом и энтузиазмом, как это мог сделать только современник Бенвенуто Челлини...

Прибавлю к этому и еще несколько цитат — из писем Толстого к друзьям.

Вот он клеймит гонения на национальности, составляющие население России, клянет принудительное, деспотическое обрусение их.

Вот он говорит о Европе, допускающей гибель кандиотов: «Европа выходит из своей роли и поступает по-татарски, и я отказываюсь от такой Европы».

Вот его горячие строки о монархии и деспотии: «Я слишком художник, чтобы нападать на монархию... Но я ненавижу деспотизм, ненавижу так, как ненавижу Сен-Жюста, Робеспьера...»

Итак, кто же перед нами? Иоанн из Дамаска, соправитель калифа, а потом песнопевец и святитель Божий, или же Илья из Мурома?

— Не терплю богатый сеней,
Мраморных тех плит,
От царьградских от курений
Голова болит...
Снова веет воли дикой
На Илью простор —
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...

Как видите, на Илью похоже. Но ведь похоже и на Иоанна. Рыцарь или витязь? И опять ответ выходит как будто двойной. «Я жил в веке Медичи». Или из другого письма к жене: «Как в Витбурге хорошо! Даже есть инструменты миннезингеров двенадцатого века. И у меня забилося и запрыгало сердце в этом рыцарском месте, и я знаю, что прежде я к нему принадлежал». Но ведь билось, прыгало сердце не меньше и в другом месте.

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле!

И ведь сам же Толстой сказал про себя: «Я не принадлежу ни к какой стране — я принадлежу всем. Моя плоть русская, славянская, но душа общечеловеческая».

Сущая правда, все великие души таковы. Но человеческое — одно, а интернационализм или русско-планетарное Неуважай-Корыто, Бога не знающее, родства не помнящее, — другое.

Илья из Мурома или Иоанн из Дамаска? Но ведь оба ходили по мраморным плитам — и оба жаждали поклониться «государыне-пустыне», оба несли подвиг Божий — и оба во святых Его: ведь и Илья почитет в Киевских пещерах.

В 69 году Толстой записал о себе: «Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный». Это в его устах значило: Русь киевская, с Святогором, с Феодосием Печерским. «Собирание земли», — писал он далее: — *Собирать хорошо, но что собирать?* Когда я вспоминаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния!» — Что бы он сказал теперь?

Теперь дело обстоит много, много хуже. Теперь в стихах пролетарских хвастунов даже заборы растут и за этими «заборами низкорослыми» молитвы совершаются на единственном языке, известном российским поэтам, — то есть на матерном («Богу молюсь матерщиною»). Теперь революция в поэзии выродилась, как в жизни, в большевизм, и, достигая своего апогея, притязает, как и большевизм, на монопольный руссизм и даже на мессианство.

«Я обещаю вам Инонию!» — Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше проспись и не дыши на меня своей мессианской самогонкой! А главное, все-то ты врешь, холоп, в угоду своему новому барину!

«Луи Блан проповедует коммунизм, а сам ест дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья».

Если на русских свиней даже и на всех хватит ананасов, все-таки оне останутся свиньями. Но это никак не есть идеал будущей России.

Нет, шутишь! Жива наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

Ив. Бунин

<12 октября 1925, Париж>

РОССИЙСКАЯ ЧЕЛОВЕЧИНА

«У Ивана Ивановича жизнь запомнилась городом с деревянными заборами, калиткой во двор, тяжелым запахом человеческого жилья...»

«И там, за десятилетиями, запомнился промозглый вечер, уж очень, до судороги в горле, пропахший человеческой: это был вечер, когда он прогнал свою жену, изменившую ему... И был тот промозглый вечер, тот вечер, когда человеку страшно на земле от удушья человечины. Это не был вечер, это была полночь. За окнами лил дождь и там надо было колоть глаза...»

«Жена повернулась круто, хлопнула дверью... Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья...»

Но жена ушла. «И жизнь ее в годы после этого была похожа на очень яркий, пестрый платок, на цыганскую шаль, которую наvertели на руку, завихрили, вихрили около загородных домов, свечей, и от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развилась, упала в очень удушливый человеческий мусор...»

А Иван Иванович все жил и жил один, «в десятилетиях». «И тут надо в скобках сказать, что эти дни бытия Ивана Ивановича привели его в великую русскую революцию...» Однако Иван Иванович жил по-прежнему. «Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем... И было у Ивана Ивановича два сына: один от него, а другой — от любовника его умершей жены. Оба долго жили «далеко от Ивана Ивановича», в разных местах, причем, один, законный, был человек здоровый и «военком», а другой —

просто больной, полукалека. Наконец они встретились, подружились и решили ехать к отцу. Но отец «всей кровью, всей ненавистью помнил ту промозглую ночь, пропахшую человечиною, когда он прогнал изменницу. Братья съехались в том городе, где он жил. «И были осенние сумерки, когда от дождей особенно удушливо пахнет в сенцах, — это было время, когда уже отгромыхала революция...» И первым к Ивану Ивановичу явился его незаконный сын, с нежным криком: «Папа!» Но Иван Иванович выгнал его, — «не имею честь вас знать!». И сын ушел от него, к брату. И братья решили про отца, что он негодяй, и уехали. И остался Иван Иванович опять один и опять пережил страшную ночь, «как человек, жизнь которого пропахла человечиною...».

Что это такое, этот Иван Иванович и эти назойливо воюющие ночи, когда почему-то «надо колоть глаза»? Это новый рассказ советской знаменитости, Бор. Пильняка, под заглавием «Человеческий ветер».

А вот еще одна очень занятная история: «Отец».

Еврей Фроим, ломовой извозчик, имел дочь Басю, которая росла до двадцати лет у бабушки, «не в Одессе, а в Тульчине», стала «женщиной исполинского роста с громадными боками и щеками кирпичного цвета» и наконец явилась однажды к отцу.

— «Папаша, сказала она оглушительным басом, меня уже черти хватают от скуки. Знай, что бабушка умерла в Тульчине!»

Фроим отнесся к дочери совершенно равнодушно, даже не сказал ей «здравствуй». А она «повесила на веревку отцовские портянки, выбросила за окно прокисшие овчины и подала отцу ужинать. Старик выпил водки и съел сразу, пахнущую, как счастливое детство. А она надела оранжевое платье и мужские штиблеты, надела шляпу, увешанную птицами, и села за воротами на лавочке. И вечер шатался возле лавочки, и небо было красное, как красное число в календаре... И мимо Баськи прошли Соломончик и Моня, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, и стали двигать руками, показывая, как бы они стали обнимать Баську. И вот Баська тотчас же захотела этого. Поэтому она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу: «Папаша, сказала она громовым голосом про Соломончика, посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки!» И с этого дня стала шить себе приданое, а с ней «сидели рядом беременные женщины, которые наливались всякой всячиной, как коровье вымя, а вокруг нее текла жизнь Молдаванки, наби-

тая сосущими младенцами, сохнувшим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шика и солдатской неутомимости...» Баська послала своего отца свататься к отцу Соломончика, «живот которого лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделывать». Но отец Соломончика не согласился на брак, и Баська ругала своего отца «рыжим вором», и ему пришлось идти искать ей нового жениха, Беню. А Беня оказался в публичном доме, — «он лежал с женщиной по имени Катюша, которая накалякала для него свой расписной, свой русский и румяный рай». Когда старик заглянул к нему, «он закрыл простыней голые Катюшины ноги и сказал, что подумает насчет предложения жениться на Баське» — и в конце концов предложение это принял...

А это что такое? А это — рассказ другой советской знаменитости, Бабеля, о котором (так же, впрочем, как и о Пильняке и многих прочих) не только с жаром и с восхищением года два писалось почти во всех зарубежных газетах, но пишется теперь уже и *во французских ежемесячниках*. Правда, некоторые кое в чем и упрекают Бабеля. Вот, например, «Дни» недавно судили о собрании рассказов этого самого Бабеля, «которое является некоторым итогом его творчества», и нашли «творчество» это неравноценным. «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы, — например, в рассказе «Сашка-Христос»... Но рассказы его из одесской жизни производят менее благоприятное впечатление... Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного быта, как например, в рассказе «Иисусов грех».

Однако Бабель все же Бабель! О рассказе «Иисусов грех» газета высказалась довольно решительно: к сожалению, говорит она, — хотя я не совсем понимаю, о чем тут сожалеть?

— «К сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом он, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица — Бог, ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати ангела, данного ей Богом, заместо мужа, чтобы не так часто рожала...»

Это приговор уже суровый хотя несколько и несправедливый, ибо «революционный отпечаток» в рассказе есть. Но за всем тем, повторяю, этот Бабель есть звезда, надежда русской литературы, одно из ярких доказательств того, что «жива Россия», в то время, как эмиграция, а в частности и эмиг-

рантская литература — тлен, «окаменение»... Так, по крайней мере, говорят в Париже и в Москве. Можно ли представить себе что-нибудь более растленное и вообще более низкое во всех смыслах, чем то (чрезвычайно типичное), что я только что цитировал? Но вот, говорят. Дико, неправдоподобно? Ничего, сойдет! Преступи все пределы — сим победишь. Оглушай человека так, чтобы у него язык прилип к гортани. И оглушают. Вот недавно Горький даже зарыдал от восторга и рукой махнул: «даже я, говорит, не могу так хорошо писать, как теперь в России пишут!»

Зачем все это говорится, пишется? И в Париже, и в Москве это говорится и пишется с одной, конечно, целью: для посрамления тех, кто осмеливается быть против революции.

Что такое эмиграция и что такое Россия?

Эмиграция такова, что ей осталось одно — пуля в рот.

Мне недавно прислали вырезку из московских «Известий». Вырезка эта — статейка о моем романе «Митина любовь». И начинается она с больших похвал. Этот прием теперь вообще в большом ходу даже и в нашей, эмигрантской, печати: для видимости беспристрастия и для пущего эффекта, унижения, например, дела Белой Армии начинают с поклонов: что ж, мол, и говорить, дело было в начале святое, прекрасное... Так и тут. Начинается с похвал. Произведение удивительное... и потому страшно показательное для эмиграции. «Бунин — художник и потому не может не чувствовать близкую ему среду и волей-неволей вынужден показать то, что он видел в ней и в себе, — то новое в смысле жизненного ощущения, что нажито интеллигентской психикой в эмигрантщине... вынужден показать, до чего эта психика опустошена, выпотрошена, проституирована...» Почему она проституирована? А потому, что мой Митя есть человек с психикой чисто эмигрантской, — нужды нет, что он умер за двадцать лет до эмиграции! — что он «предан пороку Содома и идеалу Мадонны» и стреляется. Да туда ему и дорога, говорит московская газета и прибавляет: «Выстрел в рот для эмигрантской интеллигенции — единственный выход!»

И еще прислали мне московский иллюстрированный журнал «Прожектор». И там опять обо мне, о Шмелеве, о Куприне, о Мережковском, — большая статья какого-то Воронского под заглавием «Вне жизни и вне времени» и с нашими карикатурными изображениями: Мережковский, самого гнусного вида, в купальном костюме, провертев дыру в женскую купальню, приставил к этой дыре подозрную трубу; Куприн, раздутый, как утопленник, сидит с бутылкою водки, а над ним, в облаках, его мечта — мордастый «белый» генерал; Шмелев подобострастно ле-

жит у ног лубочного замоскворецкого Кит Китыча; я — тону в болоте, и подпись под этой картинкой из моей «Несрочной весны». В рассказе этом изображен вовсе не эмигрант, а москвич, тонущий вовсе не в парижском, а именно в московском болоте. Но Воронский этим ничуть не смущается, он лжет не моргая: «Бунин, говорит он, показал нам образ человека в стане белых, дотлевающего в могильной яме». Я вообще опять являюсь тут главным козлом отпущения. Начинается опять с похвал. Но опять все только для того, чтобы сказать потом поубедительней, до чего я и все, кого я изображаю, в болоте, в могильной яме. Чем это доказывается? Помимо «Несрочной весны», еще и многими другими произведениями из книги «Роза Иерихона». Там под каждую вещь поставлены мною даты. Но ничуть этим не смущаясь, Воронский берет как раз те, что написаны еще до революции, и говорит: вот видите, каковы настроения и темы у Бунина и что сделала с ним эмиграция, «эмигрантское мракобесие»... И так же лжет он и на Шмелева: «Шмелев показывает нам другой тип из того же белого стана, бессильного кликушу, юродивого, дошедшего до исступления в своей ненависти ко всему новому...» А это чем доказывается? Тем, что Шмелев написал «Солнце мертвых». Правда, произведение это написано от лица человека, погибшего вовсе не в эмиграции, — в Крыму, и то новое, что доводит его до исступления, есть пещерный голод, пережитый Крымом при большевиках. Но ничего, сойдет.

Зато, Боже, как все хорошо в советской России!

На первой же странице «Прожектора» — настоящая идиллия: огромное дерево, за ним озеро, под ним гуляет товарищ, одетый как бы для тенниса, вдали девица в хорошеньком белом платьице собирает цветочки. Это Горки, «любимое место отдыха московских рабочих, где в свое время любил отдыхать Ильич». Затем — три бритых, чисто сахалинских башки командиров красной армии, затем — «братание русской работницы с негритяжкой»: две улыбающиеся морды жмут друг другу руку, и обе просто и прекрасно одеты, в летних соломенных шляпах. Затем — собрание крестьян, сидящих кружком и что-то читающих; просто и прекрасно одеты и обуты в кожаные сандалии крестьянки, несущие корзины с ягодами; благообразная старушка, с трубкой возле уха, слушающая радиоконцерт; мужичок в шведской куртке, едущий на тракторе; очаровательная горничная, смеющаяся из-под кокетливого зонтика, среди крымских кипарисов; «отдыхающие транспортники» в Алупкинском парке и целый зверинец каких-то кошмарно отвратных рож в Ливадийском дворце, одна из которых разухабисто растянула гармонику и зверски и

весело орет, поет, — рожа настолько паскудная и страшная, что от нее в ужасе шарахнулась бы горилла...

Затем литературный отдел.

Тут «могучий и ядреный», самый что ни на есть русский рассказ Всеволода Иванова, под заглавием «Орленое время» и начинается так: «В которых пустынях и по сейчас идет еще орленая жизнь. Жизнь эта как отвороченный пласт земли на неурочно раннее гнездо. Мечись потом птица, вой неслышным воем! Деревня есть Колудино на реке Печора. Ломит та река дерево и камень нагордо. Молочистые туманы прячут ее в белосоватые полы своих одежд. А вот на четырнадцать волостей прославился Ефрем Шигоня шубным своим клеєм...»

Тут «Черный хутор», принадлежащий перу Николая Никитина, который повествует о том, «как после отгремевшей веселой славы революции, после тех славных героических дней, о которых будущие поэты сложат поэмы, пришел скучный будень, как в декабрьских пожнях у этих трех верст, кинутым поле, скореженной кожей среди белого поля торчит темный двор, который можно принять за кирпичный заводик...»

Тут новая поэма Маяковского:

Мне жмет!
Париж не про нас —
В бульвары
Тоску рассыпай!
Направо от нас —
Бульвар Монпарнас,
Налево —
Бульвар Распай...

И далее, где поэт говорит очевидно, уже про самого себя:

Бумаги
Гладь
Облевывая
Пером,
Концом губы,
Поэт
Как б... рублевая...

* * *

Кстати — о нашем «окостенении».

В «Последних новостях» от 30 октября я недавно прочел следующее:

«Чтобы спастись от эмигрантского окостенения, нужно постоянное общение с Россией. Но общение это невозможно при настроениях вроде Бунинских и Шмелевских,

когда ров гражданской войны — не с советской властью, а с Россией — не засыпан и зияет во всей своей неприкосновенности эпохи белой борьбы...»

Что собственно это значит? О каком именно общении идет речь? С кем нужно общаться и как нужно это делать? И почему «Посл<едние> нов<ости>» — убеждены, что, например, у меня общения нет?

Оно невозможно в силу моих настроений? Но настроений по отношению к кому? К России?

Да, так же, совершенно так же, как «в эпоху белой борьбы» — которая, однако, никогда не шла против России, — зияет перед моими глазами этот ров, вернее, бездонная могила, где лежат десятки тысяч тех, с кем я был и есмь и памяти которых я, конечно, никогда не изменю, через трупы которых я никогда не полезу брататься.

Но могила эта отделяет и вечно будет отделять меня во все не от России. Из-за России-то и вся мука, вся ненависть моя. Иначе чего бы мне сидеть в Приморских Альпах, в Париже? Я бы и в земляные работы не стал играть. А просто, без всякого разговора, махнул бы через ров в российскую «человечину» — и дело с концом.

Ив. Бунин

<7 ноября 1925, Париж>

СОФИЙСКИЙ ЗВОН

Есть в нашей истории несказанно прекрасное предание о несчастном киевском князе Всеславе. Был князь Всеслав пленен своим родным братом, закован в оковы, «в железы» и брошен в яму, в темницу, был он, освобожденный киевлянами, возведен на Киевский Престол, а потом снова свергнутый с него, вынужден был бежать в Полоцк и доживать там свои дни в глухой обители, в Схиме. Но никогда не мог князь-схимник забыть Киева, говорит предание: каждый раз, как слышал он на рассвете, сквозь тонкий предутренний сон, колокола полоцких церквей, просыпался он с радостными слезами на глазах, ибо мнилось ему, что он на родине, в Киеве и что это звон киевского Софийского Собора.

Теперь часто вспоминается мне то, что когда-то написал я о князе Всеславе:

Князь Всеслав в железы был закован,
В яму брошен братскою рукой:
Князю был жестокий уготован
Жребий по жестокости людской.

Русь, его призвав к великой чести,
В Киев из темницы извела.
Да не в час он сел на княжем месте:
Лишь копьем дотронулся Стола.

Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в Схиме,
Вспоминает темный князь Всеслав?

Только звон твой утренний, София,
Только голос Киева! — Долга
Ночь зимою в Полоцке... Другие
Избы в нем, и церкви, и снега...

Далеко до света, — чуть сереют
Мерзлые окошечки... Но вот
Слышит князь: опять зовут и млеют
Звоны как бы ангельских высот!

В Полоцке звонят, а он иное
Слышит в тонкой грезе... Что года
Горестей, изгнанья! Неземное
Сердцем он запомнил навсегда.

Теперь часто кажется мне, что многие из нас уподобляются порою князю Всеславу. Да будет, да будет так.

Ив. Бунин

*15/28 мая 1926 г.
Приморские Альпы*

ДУМАЯ О ПУШКИНЕ

«Просьба ответить: 1) Каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?»

Не от большевиков, не из России, но напечатано по «новому» правописанию.

Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, — можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она — и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: «Каково ваше отношение к Пушкину?» В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему...

Вопрос этот стал возможен только теперь, после Есениных и Маяковских:

Я обещаю вам Инонию...

Белогвардейца — к стенке!
А почему не атакован Пушкин?

И все-таки долго сидел, вспоминал, думал. И о Пушкине, и о былой, пушкинской России, и о себе, о своем прошлом...

Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я, — в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) «Песни западных славян» и пришел в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю, — и стали складываться стихи «Молодой король»:

То не красный голубь метнулся
Темной ночью над черной горою —
В черной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Громом гремит далеким.

— Ваша королевская милость, —
Говорит королю Елена,
А король на коня садится,
Пробует, крепки ли подпруги,
И лица Елены не видит, —
Ваша королевская милость,
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:
Вражий стан, ваша милость, близко. —
Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.

— Ваша королевская милость, —
Говорит королю Елена, —
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте,
Жениха моего пошлите!

Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.

И заплакала Елена горько
И сказала королю тихо:
— Вы у нас ночевали в хате,
Ваша королевская милость,

На беду мою ночевали,
На мое великое счастье.
Побудьте еще хоть до света,
Отца моего пошлите!

Не пушки в горах грохочут —
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет,
Синяя зарница освещает
Дождевые длинные иглы,
Вороненую черноту ночи,
Мокрые соломенные крыши,
Петухи поют по деревне, —
То ли спросонья, с испугу,
То ли к веселой ночи...
Король сидит на крыльце хаты.

Ах, хороша, высока Елена!
Смело шагает она по навозу,
Ловко засыпает коню корма.

Затем что еще? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что Бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием — и я пишу:

Дикий лавр, и плющ, и розы,
Дети, тряпки под дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм,

Без границы и без края
Моря вольные края...
Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весною
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Вергилий,
Не моя и не твоя.

А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии... При чем тут Пушкин?

Однако я живо помню, что в какой-то связи именно с ним, с Пушкиным, написал я:

Монастыри в предгорьях глухих,
Наследие разбойников морских,
Обители забытые, пустые —
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжелых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

А вот Помпея, и опять почему-то со мною он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем:

Помпея! Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все перезабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только римские следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

А вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам.

А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней... Вышли стихи: «Дедушка в молодости»:

Вот этот дом, сто лет тому назад,
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми
Сплошь темными глазами в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,
Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдет он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
И золотистый свет дробится
В тени раскидистых берез,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчелы теплый мед,
Где иволга то вскрикивает резко,
То окариною поет,
А вдалеке, за валом сада,
Спешит народ, и краше всех — она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнем потупленного взгляда.

«Каково было вообще его воздействие на вас?» Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, — отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-ста-

ринному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...». В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее молодость, — ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее, молодую, — то есть воображаемую молодую, — с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней ее молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина, и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?

— «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел...» — с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:

— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?

— «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...» — читала она, и опять это чаровало меня *вдвойне*: ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны...

А потом — первые блаженные дни юношества, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили «Сочинения А.Пушкина». И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный...» Вот я собираюсь на охоту — «и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?». Вот зимний вечер, вьюга — и разве «буря мглою небо кроет» звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна темной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: «О Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса...» Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: «Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви, певца своей печали?» Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», — а не электрическая лампочка, — и опять *его* словами изливаю я

свою выдуманную юношескую любовь: «Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!» А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц, — и читаю строки, как будто для меня и именно об этой роще написанные:

В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек!..

А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» — от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая красновато-мглистая луна: «Как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла», — говорю я его словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час «к берегам, потопленным шумящими волнами» — и как я могу определить теперь: Бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печальному женскому образу или он, Пушкин?

А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он — или я? — «среди зеленых волн, лобзающих Тавриду», видел Нереиду на утренней заре, видел «деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуя в бурной мгле, играло море с берегами» — и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и *мой* конь бежал «в горах, дорогою прибрежной», в тот «безмятежный» утренний час, когда «все чувство путника манит» —

И зеленеющая влага
Пред ним и плещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...

Ив. Бунин

<10 июня 1926, Париж>

О НОВОЙ ОРФОГРАФИИ

Письмо в редакцию

Глубокоуважаемый Петр Бернгардович!

В «Последних новостях» напечатано открытое письмо ко мне г. Гофмана по поводу так называемой новой орфографии. Я в одной из своих последних статей сказал, что не могу принять эту орфографию «уже хотя бы потому, что по ней написано все самое злое, низкое и лживое, что только

было написано на земле», и в совершенно естественной горячности обозвал ее «заборной, объявленной невеждой и хамом», и тем дал повод г. Гофману к престранному умозаключению: он вообразил, что я оскорбил ученых, работавших во главе с покойным А.А. Шахматовым над русской орфографией при Академии Наук!

— «Позвольте уверить вас, говорит он в своем письме ко мне, что не желание *поддеть* вас руководит мною, а глубокая обида за память людей, подобных Шахматову, которую вы нанесли, сами того, конечно, не желая».

Так вот позвольте и мне уверить читателей, которых г. Гофман вводит в заблуждение, может быть, и впрямь, не имея намерения «поддеть» меня, а единственно в силу своей излишней обидчивости: «люди, подобные Шахматову», приплетены г. Гофманом совсем ни к чему, я Шахматова и людей, подобных ему, почитаю не меньше его. Да не совсем разумны и прочие его обиды и соображения.

Он дивится, что я назвал орфографию, истинно «хамски» навязанную России большевиками, заборной. Но как же она не заборная, когда именно забор и в точном и в переносном смысле этого слова так долго служил ей?

Он говорит, что новая орфография явилась «результатом» ученых работ при Академии. Но как же она могла явиться «результатом», когда работы эти *не были закончены* к началу революции?

Он указывает мне на то, что она была объявлена не большевиками, а Мануйловым. Но это тоже не имеет отношения к делу. Всегда очень сожалел и продолжаю сожалеть, что Мануйлов так поспешил в своем революционном усердии на счет вопроса, который был еще далеко не решен и остается спорным и донныне (даже и для больших ученых в этой области), но дело-то, повторяю, совсем в другом: в том, что все-таки именно «невежда и хам» большевик, приказал под страхом смертной казни употреблять только эту орфографию.

Ив. Бунин

<6 ноября 1926, Париж>

ПАМЯТИ ЮШКЕВИЧА

Нынче опускают в могилу Семена Соломоновича Юшкевича, — навсегда уходит из нашего мира человек большого таланта и сердца, которого я знал чуть не тридцать лет, с которым мы почти в одно время начали, а потом ру-

ка об руку — и так дружески за последние годы — делили наш писательский путь.

И долг, и сердечная потребность велят мне, перед нашей вечной разлукой, посвятить его памяти хоть несколько слов, достойных ее. Но что я могу сказать?

«Возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его...»

Пусть же примет благостно персть Почившего лоно нашей общей Матери и милосердный Бог даст его душе мир и радость под Своим благословенным кровом.

Ив. Бунин

<14 февраля 1927, Париж>

НАШ ПОЭТ

«После долгой и тяжелой болезни скончался в Гельсингфорсе молодой поэт и белый воин Иван Савин...»

И вот, еще раз вспомнил я его потрясающие слова, и холод жуткого восторга прошел по моей голове и глаза замутились страшными и сладостными слезами:

Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое!

Этот священный, великий день будет, будет и лик Белого Воина, будет и Богом, и Россией сопричислен к лику святых, и среди тех образов, из коих этот лик складывается, образ Савина займет одно из самых высоких мест. В ратной борьбе за Россию и за Белое Дело он проявил высшую доблесть и отвагу. Проявить себя в той же мере в поэзии он, всецело отданный воинскому труду, всем его тяжестям и ужасам, на путях его всячески телесно искалеченный и погибший столь рано, конечно, не мог. Но все же то, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу и в русской литературе: во-первых, по причине полной своеобразности его стихов и их пафоса и, во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон, некоторые же вещи и строки — особенно.

Вот его последнее письмо ко мне, рисующее его здоровье и настроение:

— «Уже недели две тому назад получил ваше ласковое письмо. Так хотелось ответить сразу же, но написал несколько слов, и карандаш выпал из рук, мысль спуталась. Виновато в том мое «завоевание революции», периодические нервные припадки. Последний припадок был на-

столько силен, что вот уже больше месяца прикован к кровати...»

И далее:

«Пользуюсь первым же днем некоторого улучшения, чтобы ответить вам. Безгранично был тронут теплыми вашими строками. Словами этого не скажешь, да и вряд ли надо говорить. Но все же хочется мне, со всей искренностью и любовью к вам, сказать: когда я думаю о бездомном русском слове, которое тоже, как и все мы, стало «Божьим подданным», и думаю о России, какой-то знак неожиданного равенства падает между вами — и Корниловым: общим путем идете вы, крестящий словом, и Он, крестивший мечом... Вот почему доброе слово ваше о моем маленьком даре — это Георгиевский крест из рук Корнилова...»

Да, для него это было высшее сравнение — сравнение кого-нибудь с первым Вождем Белого Дела. Дорогой друг и соратник, — если только я смею сказать так, — он и не подозревал, какую честь оказывает он мне не только этим сравнением, но и тем, что это говорит он, Иван Савин, «маленький дар» и славная жизнь которого уже, наверно, переживут многих из нас в истории России, которой он всецело и с такой редкой красотой и страстью отдал все свое земное существование! Ибо в чем прошло оно, это краткое существование?

«Савину не было еще и 20 лет, когда он пережил трагизм первых лет революции, гражданскую войну и кошмарный плен у красных после падения Крыма... Юношей пошел он в добровольческую кавалерию и проделал всю геройскую эпопею в рядах Белгородских улан... В боях конницы Врангеля в Таврии он потерял своего последнего брата...»

Да, да:

В седле поднимаясь, как знамя,
Он просто ответил: «Умру...»
Лилось пулеметное пламя,
Посвистывая на ветру...

«Он испытал гибель почти всей своей семьи, лишения походов, трагедию Новороссийска... После Крыма он остался больной тифом на запасных путях Джанкойского узла — на растерзание от красных палачей... Глумления, издевательства, побои, переходы по снежной степи в рваной одежде, корка хлеба Христа ради, кочевание из Чеки в Чеку... Там погибли его братья Михаил и Павел... Два года в руках палачей — и наконец, спасение, бегство в Финлян-

дию, где он отдает все свои силы литературной борьбе против большевиков...»

Автор некролога хорошо сделал, что напомнил, как сам Савин понимал эту борьбу. Савин, говорит он, был, по его собственному выражению, и в эмиграции одним из немногих «Господом поставленных на дозоре». Ныне Господь дал ему чистую отставку. Земно кланяюсь его могиле.

* * *

А вот одно из его посмертных стихотворений, никому, полагаю, еще неизвестное. Оно находится в том же его письме ко мне, о котором я только что говорил: «Посылаю стихотворение, посвященное вам, писал он. Кажется, оно слабо. Но позвольте все же привести его. Родилось оно на русской земле: минувшим летом, живя на границе Финляндии, буквально в двух шагах от нашей земли, я неоднократно переходил пограничную речонку...» Затем следуют строки, озаглавленные:

«У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ»

По дюнам бродит день сугулый,
Ныря в золото песка.
Едва шуршат морские гулы,
Едва звенит Сестра-река.

Граница. И чем ближе к устью,
К береговому янтарю,
Тем с большей нежностью и грустью
России «здравствуй» говорю.

Там, за рекой, все те же дюны,
Такой же бор к волнам сбежал,
Все те же древние Перуны
Выходят, мнится, из-за скал.

Но жизнь иная в травах бьется
И тишина еще слышней,
И на кронштадтский купол льется
Огромный дождь иных лучей.

Черкнув крылом по глади водной,
В Россию чайка уплыла —
И я крещу рукой безродной
Пропавший след ее крыла.

Иван Бунин

<4 августа 1927, Париж>

ПРОКЛЯТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Письмо <в редакцию>

Дорогой Петр Бернгардович!

Я слишком поздно получил ваше письмо, вашу просьбу отозваться на «проклятое», по вашему выражению, десятилетие, которое будет на днях «праздновать» Россия. Кроме того, что я могу сказать? Все слова давно сказаны, и мое отношение не только к большевикам, но и ко всей «великой и бескровной» хорошо известно. Я лишь могу еще раз всеми силами души присоединиться к великому хору проклятий этому десятилетию, ибо все-таки найдутся, слава Богу, миллионы не только русских, но и вообще человеческих душ, которые паки и паки проклянут этот юбилейный день, да, может быть, и день собственного своего рождения в том мире, где оказалось возможно такое десятилетие, подлее и преступнее которого не было еще в нем с самого его сотворения.

Да помянет Господь всех убиенных в эти годы, да благословит Он всех погибших и боровшихся за Россию и за подобие Божие, данное человеку: не будь их, усумнилась бы душа в этом подобии и со стыдом отреклась бы от принадлежности к России.

Обнимаю вас с сугубой сердечностью, дорогой Друг и соратник!»

*17/30 октября 1927 года.
Приморское Альпы.*

Ваш Ив. Бунин

<ОБРАЩЕНИЕ И.А. БУНИНА К РОМЭНУ РОЛЛАНУ>

Я бесконечно обязан «Авениру», позволившему мне присоединить эти несколько строк к сильному и благородному письму Бальмонта, к горьким упрекам, с которыми он обращается к знаменитому французскому писателю Ромену Роллану, считающемуся одним из самых страстных борников свободы и человеколюбия, а проявляющего себя другом банды разбойников и злодеев, которые вот уже десять лет опустошают и истощают Россию и унижают человеческое достоинство, как никогда со времен сотворения мира.

Может быть, мои слова дойдут до Ромена Роллана: может быть, вместе со словами других русских писателей-эмигрантов, они заставят его серьезно задуматься над тем, что про-

исходит на русской земле вот уже десять лет. Он ценит талант некоторых писателей из нашего круга, я это знаю. Он соблаговолил направить мне несколько писем, в которых оказал любезность назваться моим «искренним поклонником», в частности, в июне 1922 года он мне писал:

«Вероятно, что многие идеи нас разделяют или, скорее, в соответствии с мировыми стандартами, должны бы нас разделять. Мне, со своей стороны, до этого нет дела: я вижу лишь одну вещь: гениальную красоту ваших рассказов и обновление вами этого жанра русского искусства, уже столь богатого, сущность и форму которого вы находите способ еще обогатить...»

Возможно ли мне, после подобных слов, не питать некоторую надежду увидеть определенным образом возрастающее доверие Ромена Роллана к моему мнению о власти, именуемой «советской», которую он только что поздравил не без некоторых расплывчатых оговорок с десятой годовщиной ее злодейских и жестоких деяний? Неужели он всерьез полагает, что мы все, русские писатели-эмигранты, являемся просто-напросто тупыми реакционерами, и это несмотря на нашу литературную ценность? Как он заблуждается!

Если некоторые из нас ненавидят русскую революцию, это единственно потому, что она чудовищно оскорбила надежды, которые мы на нее возлагали; мы ненавидим в ней то, что мы всегда ненавидели и будем ненавидеть и впредь: тиранию, произвол, насилие, ненависть человека к человеку, одного класса к другому, низость, бессмысленную жестокость, попрание всех божественных предписаний и всех благородных человеческих чувств, короче говоря, торжество хамства и злодейства.

«Вероятно, что много идей нас разделяет...» Увы! С глубокой болью, с содроганьем я констатирую в данный момент, насколько Ромен Роллан был прав!.. Все же, я не теряю надежды увидеть его, отвергнувшего «идеи», которые сегодня так глубоко разделяют нас.

Иван Бунин

<12 января 1928, Париж>

ДОН-АМИНАДО

«Наша маленькая жизнь». — Изд. Поволоцкий и К°. Париж, 1927 г.

Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то есть кто такой этот писатель: просто ли очень та-

лантливый фельетонист или же больше, — известная художественная величина в современной русской литературе?

Мне кажется, что уже сама наличность этого вопроса предрешает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение.

И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.

Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту, — художественному, а не только газетному, злободневному.

Ив. Бунин

<1927>

КОНЕЦ МОПАССАНА

Мопассан скончался в Париже, в лечебнице доктора Бланш, тридцать пять лет тому назад.

Литературное и светское общество того времени было чрезвычайно взволновано этой смертью и всем тем, что ей предшествовало.

Взволновано, главным образом, потому, что обстоятельства болезни знаменитого писателя содержались в глубокой тайне.

Рассказывали тысячи небылиц, объявляли Мопассана сумасшедшим задолго до того, как он стал им, даже присылали ему на Ривьеру, куда послали его врачи, вырезки из газет, где говорилось, будто он уже сидит в сумасшедшем доме, распускали слухи, что «этот кумир женщин, певец радости жизни», лижет стены своей камеры, находится в состоянии полного идиотизма. Потом всеми способами пытались проникнуть к нему в лечебницу...

Что происходило на самом деле? Как провел последний год своей жизни этот «воплощенный идеал своей эпохи», как называли его многие? Что такое было его таинственное безумие? Откуда было оно у этого сильного, жизнерадостного человека, неутомимого спортсмена, неутомимого любовника?

Жорж Норманди впервые открывает нам тайну последних дней Мопассана в своей новой книге о нем.

Мать Мопассана, Лора де Мопассан, о которой Норманди говорит, что она достойна разделить славу своего

сына, так как это она развила и воспитала в нем его замечательные качества и любовь к литературе, всю жизнь страдала таинственной болезнью, мало известной в то время и теперь именуемой базедовой. Признаки этой болезни выражаются в увеличении сердца, глаз, шеи и «делают взгляд блестящим и неподвижным, а выражение лица трагическим».

Болезнь эта делает нервную систему необычайно чувствительной, парализует мускулы лица и глаз, делает больного раздражительным, неспособным долго оставаться на одном месте, бывает причиной сильных головных болей, нарушает все главные отправления организма.

Об отце, Густаве де Мопассан, известно очень мало. Он скончался в параличе, глубоким стариком, в Сент-Максими. Брат Мопассана, Эрвье, в цвете сил и здоровья внезапно заболевает (от солнечного удара, по уверению родителей) и через несколько месяцев умирает в доме для умалишенных. Смерть эта производит сильное впечатление на Мопассана — в лечебнице доктора Бланш, в бреду, он постоянно возвращается к покойнику брату, к его могиле.

Остается дядя по матери, Альфред де Пуаттевен, необычайное сходство с которым Мопассана обращает всеобщее внимание.

Сходство это так велико, что Флобер пишет его матери, подруге своего детства: «Несмотря на разницу в нашем возрасте, я вижу в твоём сыне «друга». К тому же он так напоминает мне моего бедного Альфреда! Меня иногда потрясает это сходство, особенно когда он опускает голову, читая стихи».

Норманди говорит больше:

«Есть какой-то ужасный рок в том, что малоизвестная жизнь Альфреда де Пуаттевен есть как бы *точный эскиз* славной жизни Мопассана, который и физически поразительно походит на своего дядю». Жизнь Альфреда была в высшей степени мучительна своей нервностью, постоянным самоанализом, раздвоением, невероятной чувствительностью, раздираема самолюбием и непомерной гордостью, «этим великолепным недостатком всего его рода», отличалась беспорядочностью, неумеренностью, «эксцессами всякого рода», дебошами и оргиями.

Такова наследственность Мопассана.

Был ли он болен базедовой болезнью?

Этот вопрос ставится неоднократно, но, однако, точного ответа на него врачи не дают.

А меж тем известно, что, несмотря на свою великолепно здоровую внешность, на необычайную выносливость в труде и спорте и неутомимость в любви, он уже в молодос-

ти страдает непонятными головными болями, бессонницами и что с 1880 года у него проявляется странная болезнь глаз, «невольно заставляющая вспоминать о тех временах, когда его мать была осуждена врачами жить в темноте, так как малейший свет заставлял ее кричать от боли». В 1885 году правый глаз Мопассана не может уже переносить *минутного* напряжения, пищеварение сопровождается сильнейшими болями в пояснице, нервными сердцебиениями, приливами крови к голове; во время приступа мигрени поверхность его рук, так же, как и спина, теряет чувствительность, и все это опять очень сходится с некоторыми проявлениями болезни Лоры Мопассан.

И вот эта блестящая, с виду такая счастливая, а на самом деле мучительная жизнь, в которой сроки здоровья все сокращаются, приходит к концу.

Мопассан на Ривьере, в Каннах, куда отослали его врачи. Силы его на исходе. Он напрасно пытается продолжать роман «Angelus», которому не суждено двинуться дальше пятидесятой страницы. Он уже чувствует, что «мысль понемногу уходит из его мозга, утекает, как вода из сита...». С ним происходят странные вещи: выйдя на прогулку, он встречает по дороге в Грасс, у кладбища, привидение, после завтрака ему кажется, что рыба, которую он только что съел, «вошла ему в легкие и что он может умереть от этого...». Он борется с туманом, все чаще и гуще заволакивающим его сознание, пытается успокоить мать, живущую в Ницце, молча терпит выходки друзей и врагов, на все лады печатно и устно провозглашающих его сумасшедшим, пишет завещание...

Тридцать первого декабря 1891 года солнце заходит за Эстерель среди особенного великолепия.

— Я никогда не видел подобный феерии в небе! — задумчиво говорит Мопассан своему слуге Франсуа, любуясь закатом. — Это настоящая кровь...

На другой день он встает в семь часов, собираясь ехать с утренним поездом к матери в Ниццу. Но во время бритья испытывает странное недомоганье — ему кажется, что глаза его что-то застилают. Он готов отказаться от поездки, говорит об этом Франсуа, но тот успокаивает его, приносит ему обычный завтрак — чай и два яйца.

После завтрака ему лучше, он просматривает множество полученных писем и бормочет:

— Пожеланья, все пожеланья!

Поздравление матросов с «Бель-Ами» трогает его гораздо больше. Он выходит к ним, долго и дружески разговаривает с ними. В десять часов он решает ехать.

— Иначе мать подумает, что я болен...

Paravion

Expédit par



2

Mr J. Zwibak
 114 West 70 Street
 New-York City

U.S.A.

Etats-Unis

Exp. Bouhine,
 1 rue J. Offenbach
 Paris 16



Конверт письма И.А. Бунина — А. Седых 27.12.1949 г.
 Из архива Йельского университета.

Он поехал с Франсуа. В пути не отрывает взгляда от зелено-голубого, блестящего моря, говорит: великолепная погода для прогулки на яхте!

За завтраком у матери он, по словам Франсуа, спокоен, ест с большим аппетитом. Г-жа Мопассан, напротив, находит, что сын ее очень возбужден. Он с чрезмерной порывистостью обнял ее при встрече, благодаря ему настроение за столом несколько повышенное. По утверждению постоянного домашнего врача г-жи Мопассан, он бредит во время завтрака, говорит о каком-то событии, о котором он будто бы предупрежден посредством «пилюли»... Заметив общее удивление, он, однако, спохватывается и сидит до конца завтрака грустный.

Франсуа рассказывает, что он и его господин мирно уехали в четыре часа домой, что, вернувшись к себе, Мопассан надел шелковую рубашку, чтобы чувствовать себя свободнее, и, видимо, довольный тем, что находится у себя, один, пообедал, как обычно. Г-жа Мопассан, напротив, говорит, что сын обедал у нее и что среди обеда она с ужасом заметила, что он бредит. Она пробовала уговорить его лечь в постель и остаться ночевать у нее, он отвечал, что ему непременно надо в Канны. В конце концов, забыв собственную болезнь, потрясенная его безумным видом, она охватила его ноги, стала молить пощадить ее старость, не уходить в таком состоянии, остаться... Не слушая, должно быть, не сознавая, кто с ним, занятый своими видениями, он оттолкнул ее и, что-то бормоча, шатаясь, едва держась на ногах, бросился вон и исчез в ночной темноте...

Как бы то ни было, он наконец дома. Франсуа приносит ему на ночь чашку ромашки. Он жалуется на сильные боли в спине, на нервность. Франсуа ставит ему банки, и он успокаивается. В половине двенадцатого он в постели. Франсуа, заметив, что он закрыл глаза, на цыпочках удаляется. Но тут вскоре звонок на крыльце: какая-то таинственная телеграмма. Однако Франсуа не решается беспокоить своего крепко спящего господина.

В два без четверти он вскакивает, разбуженный страшным шумом, доносящимся из комнаты Мопассана. Он бросается туда. Мопассан поворачивается к нему, бледный, с трясущимися руками, с окровавленным горлом:

— Взгляните, Франсуа, что я сделал! Я перерезал себе горло... Это уже чистое безумие...

Франсуа, с помощью матросов с «Бель-Ами», укладывает его, — на что приходится употребить большую силу, — вызывает доктора... И через несколько дней после того толпа, собравшаяся на платформе каннского вокзала, со сладострастным любопытством и ужасом смотрит на зна-

менитого писателя, едва стоящего на ногах, поддерживаемого с одной стороны Франсуа, с другой присланным из Парижа больничным служителем, и шепотом передает друг другу, что под пальто у него смирительная рубашка, что его везут в сумасшедший дом.

И вот Мопассан в лечебнице доктора Бланш, в Пасси, недалеко от улицы Ренуар, в доме, который некогда принадлежал знаменитой г-же Ламбаль, убитой во время революции парижской чернью.

Входя в этот дом для умалишенных, которого он всегда так боялся и к которому его так неодолимо тянуло всю жизнь, он уже не сознает, куда его привезли. Он с трудом говорит, узнает некоторых присутствующих, но находится в состоянии глубокого безразличия и подавленности. Ему перевязывают рану на шее и укладывают в постель. Он покорно подчиняется, но отказывается от всякой пищи и, жалуясь на нестерпимые страдания, выпивает только немного воды...

Вся первая неделя проходит в глубоком безразличии. Он все молчит, только жалуется, что у него украли половину рукописи его последнего романа; после приема данных ему врачом пилюль говорит, что одна из них прошла ему в легкое. Но постепенно он несколько оживляется. Он обвиняет доктора Г. в краже вина из его погреба. Просит держать дверь его комнаты открытой — «чтобы дьявол ушел из нее...». Ему кажется, что он живет в доме, населенном сифилитиками, от которых он заразился. Все время прислушивается к каким-то неведомым голосам...

Встав в первый раз с постели, он около часа проводит на ногах, слушая эти голоса...

Позднее он объявляет, что доктор Г., к которому он с первой минуты испытывает непонятную ненависть, хотел, из ревности к каким-то двум дамам, убить его, заставив его вымыться медом.

Одиннадцатого января, после дурно проведенной ночи, во время которой он часто вставал и, стоя у своей постели, читал молитвы, он опять говорит, что в его комнату забрался дьявол. Потом, днем, моет себе все тело минеральной водой и отказывается от всякой пищи, кроме бульона, жалуется, что «соль пропитывает ему мозг и все тело»...

Затем наступает временное улучшение. Рана на шее зарубцевалась. Он приходит в себя настолько, что однажды утром спрашивает свои письма, газеты. Однако вскоре опять объявляет о своей способности видеть на необыкновенно далеком расстоянии, описывает прекрасные пейзажи России и Африки. В продолжение ночи — почти напролет бессонной — то и дело встает и подходит к стене, подле которой подолгу говорит с кем-то вполголоса.

На другой день доктор Мерно выходит с ним прогуляться по коридору больницы. Он часто останавливается и беседует с кем-то воображаемым. Потом начинает пристально рассматривать паркет: оказывается, что по паркету «ползают насекомые, которые извергают морфий на большие расстояния...». Вечером он объявляет, что присудил к шести месяцам тюрьмы человека, изнасиловавшего какую-то молодую девушку, и что он общается с мертвыми:

— Потому что ведь мертвых нет...

Ночью ему кажется, что он слышит рев парижской черни под окнами — известно ли было ему кровавое прошлое этого дома? — пытается выброситься из окна, требует свои револьверы. Засыпает только под утро, на два часа. Весь следующий день говорит о мертвых, беседует с Флобером, с братом Эрвье:

— Их голоса очень слабы и доносятся словно издали...

Потом говорит, что написал папе Льву XIII, советуя ему сооружение таких могил, где холодная и горячая вода постоянно обмывала бы мертвые тела, а маленькое окошечко вверху мавзолея позволяло бы общаться с покойниками.

В последующее время его ум постоянно возвращается к мыслям о Боге, о смерти, о мертвых, о своем величии.

Он говорит, что Бог «вчера после завтрака объявил с Эйфелевой башни его Своим сыном, Своим и Иисуса Христа», опять отказывается от всякой пищи, считая себя находящимся в агонии, требует причащения, собирается на дуэль с Казаньяком и генералом Феврие и, в конце концов, повернувшись к стене, опять ведет длинную беседу со своим умершим братом.

И так продолжается всю ночь. Он громко уверяет кого-то, что не писал какой-то статьи в «Фигаро». В конце концов кричит:

— Если эта статья подписана моим именем — это ложь! Я не имею никакого отношения к «Фигаро»! Я не писал в «Фигаро»! Это было на улице, в полдень! Облако закрыло Эйфелеву башню...

Затем уверяет, что у него украли шестьсот тысяч франков.

После плотного обеда он в первый раз пытается сесть писать, сесть за работу, «оставленную им вчера», но писать не может, пишет только телеграмму матери:

— Ты получишь завтра. Мы нашли в доме шестьсот тысяч франков. Хотели сжечь дом. Парижане на меня в ярости, потому что я распространяю запах соли. Мне причинили ужасную боль. Мне вскрыли желудок. Скоро будет большое открытие...

И все бредит, бредит:

— Мой брат, похороненный два года назад, вернулся сегодня утром и утопился в Сене... Я сегодня утром принял лекарство, которое мне совсем помутило рассудок: у меня нет больше ни сердца, ни печени... В камне пробили дыру, и *Он* пришел утром в мою постель, чтобы убить меня...

— Мой дом в Париже сожгли...

— Генерал Негрие послал врача, чтобы осмотреть меня, и все это из-за моих демонических замыслов...

— Собралась вся чернь, чтобы убить меня, потому что я сжег свой дом...

— Вы меня слушаете, император? В эту минуту совершены тысячи преступлений...

В газетах на все лады обсуждается его болезнь, вспоминаются различные обстоятельства его жизни, ведутся лицемерные рассуждения о том, можно ли заключать больного — хотя бы и потревоженного в уме — против его воли в сумасшедший дом...

Но он уже далеко от всего этого. Круг преследующих его представлений все сужается:

— У меня искусственный желудок, поэтому он не может переносить мяса...

Ему кажется, что «соль сделала три отверстия в его черепе, и мозг вытекает через них». Он говорит, что его держат в этой больнице по приказу военного министерства, что Эрвье просит расширить его могилу, что Франсуа обокрал его — похитил у него семьдесят тысяч франков, что он умирает и хочет исповедаться, иначе его ждет ад, что Франсуа послал письмо Богу, в котором обвиняет его в содомском грехе с курицей, с козой...

И без конца идут в его мозгу все одни и те же представления. Все его бывшие страхи, все мысли, все тревоги, все прежние попытки узнать что-нибудь из медицинских книг о своей растущей болезни — все возвращается к нему, но в каком виде!

В его бреде постоянно одно и то же: убийства, преследования, Бог, смерть, деньги... Так выражаются теперь у него его прежние сложные, мучительные мысли, столько раз с такой точностью, с такой красотой и изяществом высказанные им!

И чем дальше, тем беспорядок в его мозгу все увеличивается. Он говорит целые дни, а иногда и целые ночи, кричит, жестикулирует...

Посещения знакомых неизменно приводят его в мрачное, подавленное состояние. Он почти не говорит с ними, отворачивается с недовольным видом, бормочет что-то. Может быть, подсознательно вспомнив, что больным базедовой болезнью не следует худеть, он вдруг начинает мно-

го есть. Потом удерживается от естественных отправлений и, когда ему вводят зонд, кричит, что в его моче драгоценные камни, что их хотят отнять у него...

К весне от него остается только тень прежнего человека.

Видевшие его незадолго до смерти говорят, что его лицо было землистого цвета, плечи сгорблены, рот раскрыт. Сидя в саду, под весенним голубым небом, он бессознательно поглаживал себе подбородок...

Ив. Бунин

<4 ноября 1927, Париж>

НА ПОУЧЕНИЕ МОЛОДЫМ ПИСАТЕЛЯМ

Опять и опять прочел недавно, — на этот раз в статье Адамовича, — о разнице между французской и русской душой, о французском умении писать, и о русской в этом смысле отсталости, о ненужности изобразительности (или, как любят теперь говорить, «описательства»), и о том, что многие молодые наши писатели «тратят свои силы попусту, бьются в кругу, в котором после Толстого, собственно, делать нечего»...

«Французские писатели, — говорит Адамович, — уже не прельщаются ни натурализмом, ни «бытовизмом», которые многим из наших писателей представляются сейчас не только средством, но и целью...»

Правда ли, что так-таки уж все французские писатели не прельщаются «бытовизмом»? Думаю, что неправда, советую хорошенько вспомнить кое-что из появившегося даже за самое последнее время. Правда ли, что многим русским натурализм и «бытовизм» представляются не только средством, но и целью? Опять неправда: большинство зарубежных произведений даже о годах гражданской войны, о беженстве, об эмиграции не «бытовизмом», конечно, продиктованы. Произведения эти могут быть для Адамовича скучны, могут быть отчасти однообразны, — как всюду и всегда однообразны произведения известного времени, будь то время романтическое, символическое, «декадентское» или какое другое, — но ведь это уж другой вопрос; во всяком случае, «бытовизм» даже для *советских* писателей не представляется *целью*.

«Французы поняли, что нельзя без конца ставить ставку на внешнюю изобразительность...» Когда именно поняли? «В конце прошлого столетия, когда уже был достигнут в ней некоторый максимум...» Странно, как поздно поняли! Это можно было понять не только после Мопассана, Фло-

бера, Бальзака, но и после Гомера, Данте, изобразительностью, как известно, весьма не брезговавших. Но все равно, — пусть поняли и пусть именно в конце прошлого столетия, когда будто бы вообще «мир преобразился» и пришла всяческая и уже последняя мудрость, без всякого будто бы «возврата к прошлому». Дело не в этом. Дело в том, что цитированную фразу надо понимать, очевидно, как самое главное поучение статьи: «Поймите же, наконец, и вы, русские!» Но ах, как старо это поучение! Лет тридцать, по крайней мере, на все и всяческие лады твердят его. Все начало нынешнего столетия твердили — и не без пользы: вспомните-ка тип поэта и прозаика, преобладавший за эти тридцать лет в России. Адамович может сказать: что ж делать, теперь, видно, опять надо начинать сначала! Но, повторяю, я все-таки особой надобности в этом не усматриваю.

Адамович прибавил к слову «изобразительность» слово — «внешняя». Но зачем? Хотел, думаю, только смягчить свою нелюбовь к изобразительности, к «описательству». Но люби не люби, как все-таки обойтись без этой изобразительности? Нелюбовь эта в моде теперь (в некоторых, разумеется, кружках, особенно среди тех, которые знают свою собственную слабую изобразительность и стараются отделаться «мудростью»). Но как же все-таки обойтись в музыке без звуков, в живописи без красок и без изображения (хотя бы и самого новейшего, нелепейшего) предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? Это очень старо, но, право, не так уж глупо: «Писатель мыслит образами». Да, и всегда изображает. Разве не изображает даже Достоевский? «Князь весь трясся, он был весь как в лихорадке... Настасья Филипповна вся дрожала, она вся была как в горячке...» Не велика, конечно, изобразительность, а все-таки что же это? Блок писал, что в какой-то «голубой далекой спальне» какой-то «карлик маленький часы остановил», Белый — что кто-то «хохотал хриплым басом, в небеса запустил ананасом». Уж чего, кажись, новей и независимей от Толстого! А все-таки опять изобразительность.

Адамович в горестном недоумении. «Ну, еще раз будет описана лунная ночь, а дальше что?» Я бы тоже мог недоумевать: ну, еще раз будет сказано про то, что Петербург «призрачный город», или про Медного всадника, или про усталость от бессонных ночей в «Бродячей собаке», а дальше что? Да что толку в нашем недоумении? Ах, ах, еще раз весна и еще один молодой человек на свете, а дальше что? А дальше то, что этому молодому человеку будут в высокой степени безразличны и наши вздохи, и то, что «еще раз»

пришла в мир весна и его молодость. Если лунная ночь описана скверно или банально, не будет, конечно, ровно ничего «дальше». А если хорошо, то есть настоящим художником, который, конечно, не фотографией лунной ночи занимается и всегда говорит прежде всего о своей душе, эту ночь так или иначе воспринимающей, то уж «дальше» непременно что-нибудь будет. Адамовичу, кажется, хочется, чтобы души наши вращались в какой-то чудесной пустоте, где нет ни дня, ни ночи, ни улиц, ни полей, а так только — одни изысканные души.

«Рядом с внешним миром, — говорит Адамович, — есть еще мир внутренний, вполне и безоговорочно бесконечный, вечно меняющийся и вечной новый». Это очень приятно слышать, но кто же это когда отрицал? А потом — что же делать и с этим внутренним миром, без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать без описательства? Одними восклицаниями? Не-членораздельными звуками?

Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти? Например, Достоевского? Но ведь тоже немало шли и идут. Кроме того: неужто уж так беден Толстой и насчет этого самого мира внутреннего? «На Толстом, — говорит Адамович, — не кончается литература — есть и другие выходы...» Это как нельзя более верно, но откуда взял Адамович, будто существует теперь уж такое ужасное засилье Толстого?

Дальше речь идет почему-то обо мне. «Крайне интересно в этом отношении творчество даровитейшего и убежденнейшего из толстовцев, Бунина, особенно поздние его вещи, после «Господина из Сан-Франциско», все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства...»

Странная речь. Я весьма люблю Толстого, но при чем тут «убежденный толстовец»? Что это значит? Я употребляю только его «выходы»? Не больше, чем «выходы» прочих создателей не только русской, но и мировой литературы, имея, впрочем, и некоторые свои собственные, к счастью. Я подражаю ему? Нет, конечно. Похож на него? Ни в малейшей степени. Я «рвусь» куда-то после «Господина из Сан-Франциско»? Конечно, «рвусь», но «рвался» не только после, но и прежде него.

«Внутренний мир, — говорит в конце концов Адамович, — через видимое постигается, но лишь в том случае, когда это видимое не поглощает внимания...» Вот это наконец уже совсем бесспорно. И не лучше ли было бы лишь одно это и сказать, вместо всего прочего? Только даже и это давно всем ведомо. Не ведомо молодым писателям, ко-

торых все-таки не мешает поучить? Но их, по-моему, уж чересчур много учат. Просто задержали. Над ними денно и нощно стонут, подобно чеховской няньке: «Пропали ваши головушки!» И Адамович их за *одно* журит, а, например, Осоргин за *другое*, — один за «бытовизм», другой за отсутствие оного:

- Русский язык вы вот-вот забудете...
- Русского быта не знаете...
- «Сюжетная теснота» у вас ужасная...
- Прошли вы все по одной и той же дороге...
- Бедные жертвы безвременья!
- То ли дело было прежде!

А что, собственно, такое было прежде, если говорить о писателях новейшей формации?

По Волге иногда плавали? С извозчиками порой разговаривали? Но неужели все «ледяные походы», все Балканы и вся Европа ничего не значат перед Волгой и извозчиком? Неужели Шекспир не прав был, сказавши, что «домоседная мудрость не далеко ушла от глупости»?

Какой такой особый быт, какую такую особенную Русь познавали прежние молодые писатели в ресторанах «Вена» или «Большой Московский», в «Бродячей собаке» или в редакции «Русского богатства»?

«Сюжетна теснота»! А вспомните, какая теснота была в «Русских богатствах» — в одном роде, а в «Скорпионах» и «Аполлонах» — в другом!

Ив. Бунин

<2 декабря 1928, Париж>

<О КИНОИСКУССТВЕ. ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ>

12, 11, 35

Villa Belvédèr, Grasse.

Дорогой Андрей Григорьевич, очень жалко, что мы не повидались, не поговорили по этому делу, — оно меня интересует. Письменно могу сказать не много (а с таким опозданием потому, что уже больше полумесяца инвалиден — упал ночью с обрыва тропинки и разбил ногу, да так, что вот только теперь изредка добираюсь с постели к письменному столу).

«Une fenêtre est ouverte...»* Правильно, и это одна из главных причин, почему я много ходил и хожу в синема —

* «Одно из окон открыто...» (фр.).

«страсть к обозрению мира», говоря словами Саади, всегда была и есть у меня в очень большой, даже редкой мере. Есть и другие причины. Я, например, люблю *откровенную* мелодраму, — то, что так редко (в смысле откровенности-то) в театре (который я, кстати сказать, всегда выносил с большим трудом). Очень люблю *телесную* ловкость актеров синема. Восхищаюсь хорошими «полицейскими» фильмами, — тут у меня часто «захватывает дух», как у гимназиста или горничной. Потом — как удивительно выбираются иногда (и даже часто) *типические* лица в синема! Зато выборы «героев» иногда таковы (например, Екатерина Великая, Анна Каренина, Мадам Бовари), что нельзя смотреть без возмущения.

Впрочем, это длинная материя. Отвечаю на вопросы.

1. *Allez-vous souvent au cinéma?*

Достаточно часто (за последнее время, впрочем, реже — мало, что нравится). Видел почти все выдающиеся фильмы последних лет.

2. *Que pensez-vous du cinéma actuel?*

Что бы ни говорили об упадке фильма, кризисе и в этой области, синема в художественном отношении, несомненно, подвинулось вперед. Прежде ставили фильмы для какой-нибудь одной «ведетты», мало заботясь об ансамбле, теперь часто видишь очень недурные фильмы, превосходно поставленные и разыгранные актерами далеко не первой величины. Есть фильмы почти целиком обязанные своим успехом таланту режиссера. Среди талантливейших режиссеров надо вспомнить хотя бы Набста, фильмы которого всегда есть в некотором роде поэмы, конечно, и теперь на сезон приходится один-два хороших фильма, но когда и в какой области «урожаи» бывали больше?

3. *Quels sont les films et les artistes que vous aimez le plus?*

«Девушки в униформе», «Восемь девушек в лодке» (за исключением некоторых чересчур реалистических подробностей), «Неоконченная симфония», «Маскарад», некоторые фильмы с Яннингсом, например «Цирк», «Синий ангел»... Не во всех, но в некоторых фильмах, например в «Королеве Христине», хороша была Грета Гарбо. В идущих до сих пор в Париже «Маленьких женщинах» прекрасная актриса, незнакомая мне до сих пор — не помню точно фамилию. Превосходна Марта Эггер в «Неоконченной симфонии». Из французских актеров вспоминаются сейчас Трамель, Мильтон, из русских, конечно, Ольга <Чехова> с паскудно нравоучительным, лживым донельзя тоном разговоров. После «Путевки» вообще закаялся глядеть эти «советские» фильмы. Да и что может быть хорошего из этой «советской» России?

«ФРАНСУА МОРИАК»

Франсуа Мориак, один из самых замечательных — и едва ли не самый замечательный из современных французских писателей, — родился 11 октября 1885 года в Бордо. Там он провел первые двадцать лет жизни, воспитывался и учился. В 1906 году переехал в Париж, где и начал свою литературную деятельность. Первая же его книга — книга стихов, вышедшая в 1909 году, — обратила на себя внимание знатоков, сам Морис Баррес возвестил «рождение нового большого поэта». В 1912 году появился первый роман Мориака — «Дитя, отягченное цепями». «Поцелуй прокаженному» (вышедший в 1922 г.) принес ему уже славу. «Огненная река», «Женитрикс», «Пустыня любви», «Тереза Декейру», «То, что было потеряно», «Змеиное гнездо», «Тайна Фронтенаков» славу эту неизменно увеличивали. В 1925 году французская Академия присудила ему «Большую премию», а в 1933 году он сам становится академиком.

Как вкратце определить его?

Христианин, католик, воспитанник марианитов, несущий в себе страстное наследие пылкой крови людей, живших и умерших под огненным небом Ланд — предки его были земледельцами, фермерами, богатыми промышленниками в Ландах, — он внес противоречие этих двух натур и в свои создания. Редко кто так знает и чувствует всю глубину падения, греха человеческой природы и вместе с тем умеет писать столь обольстительно эту греховность. По его собственному признанию, он с юности предпочитал благонамеренным авторам Бодлера, Рембо и других «проклятых».

«Умел ли я когда-либо говорить о существах с открытой душой, блестящих добродетелями? Открытые души не имеют истории; но историю душ, глубоко скрытых и таящихся в теле, полном греха, я знаю», — говорит он в предисловии к одному из своих романов. И прибавляет, обращаясь к одной из своих героинь: «Я хотел бы, чтобы твоя боль привела тебя к Богу».

Роман «Женитрикс», перевод которого мы предлагаем русским читателям под заглавием «Волчица», — сам автор употребляет это слово, говоря о главном лице этого романа, — Женитрикс, одно из самых страшных созданий Мориака, есть именно история одной из таких «глубоко скрытых душ». Эпиграфом к нему можно бы поставить те несколько строк Бодлера, которые он сам поставил перед другим своим романом и которые смело могли бы стоять во главе почти всего созданного им:

«Боже, смилуйся, смилуйся над безумными! О Создатель! Могут ли существовать чудовища в глазах Того едино-

го, Кто знает, почему они существуют, как они создались и как могли не создаться!»

Париж, 1938 г.

Ив. Бунин

ПАМЯТИ П.А. НИЛУСА

Нынче, 23 мая, третья годовщина со дня кончины моего многолетнего друга художника Петра Александровича Нилуса, и мне хочется напомнить об этом богато одаренном и прекрасном человеке.

Он родился 29 июня 1869 года в Подольской губернии, рос в Одессе, учился, кончив реальное училище, в Одесской рисовальной школе, где был учеником известного художника Костанди, в Петербурге, поступив в Академию художеств, работал в мастерской Репина, в конце восьмидесятых годов вернулся в Одессу и начал работать самостоятельно. В 1890 году он уже был участником первой выставки Южнорусских художников, а затем и выставки Передвижников, членом которых оставался после того многие годы. С тех пор он стал совершать с художественными целями частые поездки в Париж, посещал Германию, Австрию, Италию, выставлял свои картины в Мюнхене, в Вене, в Риме... Покинув в 1919 году Россию, он жил в Болгарии и в Австрии, устраивая свои выставки в Софии, Белграде, Загребе и Вене, в 1923 году окончательно переселился в Париж, много выставлял и здесь, неизменно встречаемый большими похвалами наиболее видных французских художественных критиков, ценивших его как первоклассного колориста и художника-поэта: начав в молодости с реалистического жанра, П.А. все более и более тяготел впоследствии к романтике пейзажа и персонажей начала и середины прошлого века: в Париже он работал особенно много, достиг полного расцвета и разнообразия своего дарования.

Наследие оставил он большое: помимо того, что еще можно видеть в его парижской мастерской, картины его находятся во многих и многих русских и европейских музеях и частных собраниях: в Одессе, в московской Третьяковской галерее, в бывшем музее Александра III и в музее Академии художеств, в Париже, Страсбурге, Гренобле, Лондоне, Нью-Йорке, Загребе, Белграде, Софии...

Был он и талантливым беллетристом, — повесть его «На берегу моря», напечатанная в 1906 году в альманахе «Шиповник», затем книга рассказов, изданная «Книгоиздательством писателей в Москве», имели крупный успех; был

тонким знатоком музыки, обладал чуть ли не абсолютным слухом; пленял всех знавших его добротой, благородством, вечной молодостью сердца...

1946

Ив. Бунин

<24 мая, Париж>

<АЛЕКСАНДР КЛЯГИН>*

Мне хочется сказать несколько слов об авторе этой книги и обратить на него внимание читателей потому, во-первых, что он в некотором роде мой литературный крестник, что это я побудил его взяться за перо, и потому, во-вторых, что я считаю его одним из даровитейших русских людей, необыкновенно много видевшим и испытывавшим на своем веку, за долгие годы своей неустанной и разнообразной практической деятельности, истинной страсти всей его жизни, неожиданно ставшим на моих глазах еще и весьма своеобразным писателем.

Я познакомился с ним на юге Франции, в Грассе, где мы оба проводили годы войны, — английская вилла, на которой я жил, оказалась в ближайшем соседстве с его собственной великолепной виллой, и мы часто коротали на ней время в наших долгих беседах, делились газетными вестями, тайком от врагов, повсюду сидевших вокруг нас в оккупированном Грассе, слушали радио... Без конца рассказывал он мне в эти часы и о своей удивительной жизни — с живостью тоже совершенно удивительной для его возраста. Так и узнал я, что этот миллионер, уже четверть века живущий во Франции и ставший французским подданным, родился и рос в орловской деревне, в очень и очень скромном имении своего отца, человека из народа, и чуть не с детства проявил ту стойкую энергию своей натуры, что уже никогда не покидала его впоследствии: кончив в девятьсот третьем году орловскую гимназию, он в том же году, преодолев труднейший конкурс, поступил в Петербургский технологический институт, лето следующего года провел на железнодорожной практике помощником машиниста в Польше, затем, когда студенческие волнения прервали занятия в институте, нанялся простым рабочим на постройку в пустынных прикаспийских степях Астраханской железной дороги, — ни противодействие, ни гнев отца не сломили упорства юноши, мечты которого простирались гораздо далее мирного наследственного существо-

* Предисловие к книге А. Клягина «Страна возможностей необычайных». (Ред.)

вания в брянском сельце Карпиловке. Не сломили его и жесточайшие условия жизни в этих голых песчаных степях, летом нестерпимо знойных и доисторически кишящих змеями, тарантулами, скорпионами, осенью поливаемых непрерывными дождями, зимой заносимых вьюгами, — благодаря своей редкой трудоспособности и одаренности, он вскоре настолько выдвинулся по службе, что назначен был участковым техником. В ту же пору свалилось на него и первое его богатство: зоркий взгляд, русская сметка навели его на смелую мысль начать раскопки в окрестных песках, поиски под ними камня, который так необходим был для постройки дороги, и этот камень, к великому удивлению всех сослуживцев Клягина, в конце концов нашелся, оказавшись остатками какого-то давно погребенного песками города. Продав этот камень, Клягин вернулся в Петербург уже обладателем некоторого состояния, чтобы продолжать учение в институте и дать прибыльный ход своему капиталу, вложив его в предприятия какого-то вскоре прогоревшего общества, стал снова нищим, но ни на минуту не пал духом: открыл автомобильный гараж, при гараже мастерскую для починки автомобилей — и целых два года, изо дня в день, работал по пятнадцать, по восемнадцать часов в сутки, учась в институте, добывая средства к существованию гаражом, и настолько изучил с течением времени автомобильное дело, что стал участвовать в автомобильных гонках в России и за границей...

Дальнейшая карьера этого русского американца была блестяща: кончив институт, он снова на постройке железной дороги — на этот раз Амурской, служит инженером в Восточной Сибири, затем состоит при начальнике по постройке всех железных дорог России и посещает по службе ее многие окраины: Туркестан, Закавказье, южный Кавказ, северные русские области... В девятьсот двенадцатом году переводится в Петербург, в министерство путей сообщения, командировается за границу для наблюдения за усовершенствованиями железнодорожной техники... Война девятьсот четырнадцатого года захватывает его в Бельгии, откуда он пешком добирается до Парижа, находится тут некоторое время при нашем посольстве и с последним пароходом возвращается через Дарданеллы в Россию. В России, назначенный на постройку Мурманской железной дороги, заканчивает в девятьсот шестнадцатом году укладку ее рельсового пути, соединив в девять месяцев Ледовитый океан с Петербургом линией в 1400 километров, затем командировается в Англию и Францию представителем министерства путей сообщения — и, застигнутый в Европе русской революцией, навсегда поселяется во Франции...

Не мое дело рассказывать о всей последующей деятельности автора этой книги, — отмечу еще только одно: то, насколько этот русский американец все же остался прежде всего русским человеком и каким крепким русским духом, складом и ладом полны его богатые повествования.

7.1.47

Ив. Бунин

<Париж>

<АНДРЕЙ СЕДЫХ>

По старой дружбе, Андрей Седых написал мне, что издает книгу своих новых рассказов, а вместе с письмом прислал дубликат ее корректурных гранок, прося меня сказать ему «откровенно, по секрету», что я думаю о ней, и, зная его талантливость, я прочел ее немедля и с таким удовольствием, что решил высказаться не «по секрету», а гласно, небольшим предисловием к ней.

Я вспомнил все мое знакомство с Андреем Седых как с писателем и человеком. Первые его писания, ставшие известными мне, — во времена, теперь уже далекие, — были его отчеты в парижских «Последних новостях» о заседаниях французского парламента, мало для меня интересные, составляемые, конечно, наспех, с неизбежными шаблонами на французский лад («на трибуну поднимается такой-то...»); тут меня заинтересовал только слух о том, что Андрей Седых человек веселый, бойкий, находчивый; кричит на него, например, в редакции «Последних новостей» вечный крикун А.А. Поляков: «До чего, черт вас возьми совсем, валяете вы отчеты как попало!», а тот ему в ответ: «А вы что же, хотите, чтобы я за 25 сантимов построчных переписывал свои отчеты по сто раз, как Лев Толстой свои романы и рассказы?» Потом я впервые прочел его полубеллетристические рассказы о жизни в Париже низших слоев русской эмиграции, его книгу «Люди за бортом» — и был даже удивлен: так отлично написана была она, так легко, свободно, разнообразно, без единого фальшивого слова, с живыми лицами, с присущим каждому из них языком. Тут уже явно сказались особенности Андрея Седых: его юмор, живость, умение схватывать на лету все, что попадает в поле его наблюдений, мгновенно пользоваться схваченным... В те нобелевские дни, когда он был моим секретарем и ездил со мной в Стокгольм, я стал даже побаиваться этих его способностей. Вот, например, утро того дня, когда я дол-

жен принять из рук шведского короля Нобелевский диплом и ответить ему благодарностью, и я шутя вздыхаю и говорю: «Ох, Боже мой, напрасно я жил в Париже в отеле «Мажестик», боюсь, что нынче брякну королю от смущения вместо *Votre Majesté* — *Votre Мажестик!*», а через несколько дней после этого в ужасе хватаюсь за голову, получив из Парижа «Последние новости» с очередной телеграфной корреспонденцией Андрея Седых о моей жизни в Стокгольме, кричу ему: «Разбойник, что же это вы со мной делаете! При вас слова нельзя сказать! Вот вы уже и это телеграфировали — мою дурацкую шутку насчет «Мажестика»! Неужели вы не понимаете, что это будет, если шведы, люди строгие, узнают про нее, про то, что она попала в печать!» А он в ответ только пожимает плечом: «Что значит — дурацкая? Никакая хорошая шутка не может быть дурацкой. И нет ровно ничего обидного для шведов в вашей шутке. Главное же то, что скучный журналист достоин виселицы, к которой я еще не имею ни малейшей склонности». Зато в других отношениях был он секретарем хоть куда. Сколько давал за меня, замученного, бесед со всякими иностранными газетчиками, как решительно расправлялся с грудями писем, что я получал от несметных поздравителей и просителей, как ловко и спокойно выставлял за порог всяких «стрелков», осаждавших меня в «Мажестике»! В те часы, когда он отсутствовал, я часто сидел, запершись на замок, и недаром: бывали «стрелки», обладавшие удивительным нахрапом, анекдотическим бесстыдством. Однажды сидел я вот так, под замком, не отвечая на стуки в дверь. Раздается наконец стук настолько крепкий, требовательный, что я подхожу к двери:

— Кто там?

— Отворите, господин Бунин, — отвечает грубый, простонародный бас. — Нам нужен личный разговор по очень важному делу.

— Кому нам?

— Мне и моим товарищам.

— Я нездоров, никого не принимаю, должен лежать в постели.

— Не стесняйтесь, пожалуйста, мы же не дамы.

— Да в чем дело?

— Дело в русской национальной ценности, которую вы обязаны по своему положению лауреата приобрести, чтобы она не попала в руки кровавых кремлевских палачей.

— Что за ценность?

— Топор императора Петра Великого. Его личная собственность с государственным сертификатом и приложением печати.

— Вы, кажется, не в своем уме. Какой такой топор? Очевидно, тот самый, каким Петр прорубил окно в Европу?

— Этим не шутят, господин Бунин! — уже с угрозой, с хамской мрачностью возвышает голос мой собеседник за дверью. — Не имеете права шутить. Это священная национальная ценность. И только ввиду этого уступаем всего за пятьсот франков с ручательством...

С тех пор прошло почти пятнадцать лет. Андрей Седых издал в Париже еще несколько книг, потом стал американцем, прислал мне недавно свой фотографический портрет: сидит, уже в очках, серьезный, за письменным столом, что-то пишет... На днях получаю «Новое русское слово», читаю его рассказ «Миссис Катя Джэксон» — и качаю головой: это только передача рассказа Кати, русской девушки, неожиданно ставшей англичанкой, о том, что она пережила в немецкому плену, а после плена — перед грозившим ей, как и многим-многим другим, возвращением в Россию, во избежание чего многие из этих многих «запирались в своих бараках, когда за ними приезжали на грузовиках красноармейцы, пели «Со Святыми упокой», перерезывали себе вены или лезли в петлю»; это передача одного из тех рассказов, что мы, по справедливому замечанию самого Андрея Седых, «уже тысячу раз слышали и читали», но я все-таки качаю головой с намернувшимися на глаза слезами: как передано! В передаче таких рассказов одно-единственное неверное, лишнее, пошлое слово может погубить все дело, все впечатление от рассказа, невзирая на все его ужасающее ум и душу содержание. А вот Андрей Седых затуманил мне глаза, ни единым звуком не оскорбил моего писательского, теперь, по моему великому писательскому опыту, уже «абсолютного слуха»...

А сейчас передо мной целый сборник его новых рассказов. Как почти во всяком таком сборнике, рассказы и тут не равноценны, конечно. Но то, что ценно, — по главному признаку таланта, то есть опять-таки по свободе, присущей писаниям Андрея Седых, по легкости и неподдельной простоте, с которой он «передает» когда-то пережитое свое и чужое, — опять заставляет меня качать головой, на этот раз уже весело: какой молодец этот американец в очках, такой будто серьезный, а на деле, во многих рассказах, все еще как будто прежний, бойкий сотрудник А.А. Полякова и мой секретарь! И какая художественная памятьливость на давно, давно пережитое! И какая богатая лингвистика!

Новые рассказы Андрея Седых бесхитростны, не претендуют поражать читателя, большинство их радуется своей шутливостью и изобразительностью. Два прекрасных рассказа — «Миссис Катя Джэксон» и «Пашино счастье» —

Proustian Passages in Ivan Bunin's *The Life of Arsen'ev* in the Context of the Genre of Literary Memoirs

In a letter of 5 April 1936 Ivan Bunin wrote to P.M. Bitsilli, a Professor at the State University of Sophia, that he had only recently read Proust "i dazhe ispugalsia: da ved' v 'Zhizni Ars[en'eva]' (i v 'Istokakh dnei' i v tom nachale II-toma, chto ia napechatal tri goda tomu nazad' . . .) nemalo mest sovsem prustovskikh! Podi, dokazyvai, chto ia i v glaza ne vidal Prusta, kogda pisal i to i drugoe! —[and I even got frightened: there are indeed quite a few really Proustian passages in *The Life of Arsen'ev* (both in 'The Well of Days' and in the beginning of the second part which I published three years ago). Well, try and prove that I had not set eyes on Proust when I wrote the one and the other]"² *The Life of Arsen'ev* had been written before 1936. The manuscript, which is kept at the Central State Archive for Literature in Moscow, carries the starting date of 22.VI.27 and completion date of 3 ch.50m. (a curious detail) 8.II.1928g. The fifth book, published separately in 1939 under the title "Lika," was written in 1933.

The purpose of this paper is less to try to guess what passages in his novel Bunin thought were Proustian than to understand what he meant by Proustian passages (*prustovskie mesta*). The first reaction of the reader may be surprise at Bunin's fright. What kind of kinship could there be between two novels which, if only in terms of scope—*A la recherche du temps perdu* is almost twenty times larger than *The Life of Arsen'ev*—differ so vastly? Bunin, however, might have been frightened at the unexpected discovery of passages in *A la recherche* which strongly reminded him of his own text because of those otherwise vast differences. The assumption

выделяются в его новой книге как нечто совсем особое среди того, что преобладает в ней. Преобладает другое, шутовское, беспечное, живописное: это «Звездочеты с Босфора», затем крымские, черноморские рассказы — «Бартыжники», «Хайтарма», «Гидра», «Чебуреки» — и, наконец, «Мой легионер» и «Парад, аллэ» — этот последний о цирке. Тут все чудесно именно по своей непритязательности и жизненности, а кроме того, и по тому, что я назвал «лингвистикой» Андрея Седых, то есть по богатству говоров, жаргонов, которыми в таком совершенстве, так безошибочно, так точно владеет он, рассказывая о крымских татарах и греках, о портовых босяках и о людях на морских грузовиках вроде «Гидры», об острожнике Сеньке Бараданчике, о французском легионере, подольском крестьянине, ухитрившемся без всяких паспортов и пропусков сходить в «советскую» Россию и благополучно оттуда возвратившемся, — «алле е ретур, по-нашему, легионному», — о цирковых борцах («чемпион Украины Стыцура», «дитя волжских степей чемпион Поволжья Рыбаков», «чемпион Черноморского флота, пропившийся моряк Посунько», «чемпион Грузии Шота Чалидзе» с его утрированным акцентом: «хачу баротья! арбитр, давай минэ баротья Абдулаева!»)... Я тринадцать раз был в Константинополе и могу сказать тоже безошибочно, как живо дал мне почувствовать Андрей Седых в своих «Звездочетах» то труднопередаваемое, что присуще Константинополю; я хорошо знаю Крым, Черное море, немало плавал даже и на грузовиках вроде «Гидры» — то же могу сказать об искусстве Андрея Седых и в этом случае; и цирк ему удался не хуже Куприна, даже лучше, по-моему...

Впрочем, пора кончить — чтобы не перехвалить его.

17.3.1948

Приморские Альпы

Ив. Бунин

<РЕЧЬ О ПУШКИНЕ>

Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства. А что случилось с ней самой, Россией Пушкина, — и опять-таки при ее попустительстве, — ведомо всему миру. И потому были бы мы лжецами, лицемерами — и более того: были бы недостойны произносить в эти дни Его бес-

смертное имя, если бы не было в наших сердцах и великой скорби о нашей общей с Ним родине

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!

Как же умалчивать, памятуя Его, что уже не только нет града Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы Адовы.

21 июня 1949 г.

Ив. Бунин

<Париж>

«МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ»

В моих «Воспоминаниях» рассказано, как мы с женой навсегда покинули Россию в феврале 1920 года из Одессы, занятой большевиками, как из Константинополя попали в Софию и как до нитки обкрадены были в той софийской гостинице, куда французы, тогдашние оккупанты Болгарии, помещали русских беженцев. Рассказано и то, что болгарское правительство помогло нам доехать до Белграда, предоставив в наше полное и единоличное распоряжение отдельный вагон третьего класса, очень, конечно, потрепанный, с некоторыми разбитыми стеклами окон, забитых дранками, но с голыми дощатыми скамьями и потому наиболее безопасный от тифозных вшей: иначе мы ехали бы до Белграда, при тогдашних железнодорожных послевоенных безобразиях, еще и в несметной толпе прочих русских беженцев, в условиях поистине ужасных, для нас просто непосильных. Все это рассказано мною. Но не рассказано то, что случилось с нами однажды ночью, когда наш поезд тащился уже по Сербии. Случилось же то, что этой ночью в наш вагон, где мы занимали только одно отдельное купе, а все прочие места позволили в пути занять несколькими сербам, явилась дама при весьма молодцеватом кавалере в форме русского «земгусара», во френче, в галифе и крагах, с подстриженными ежиком усами, с ременным хлыстом в руке. Время было уже довольно позднее, я уже разделся и лег, постелив на дощатую скамью пальто, как вдруг раздался крепкий стук в дверь, а затем властный мужской голос:

— Отворите!

— Кто там? — спрашиваю я. Но в ответ еще более властное:

— Вам говорят, — отворите!

Бессознательно накидываю на себя пальто, отворяю и вижу эту даму и кавалера:

— В чем дело?

Дама быстро и строго отвечает вопросом:

— Вы академик Бунин?

— Да. А что?

— Ваши бумаги!

— Какие бумаги?

— Ваши паспорта и все, все другие, какие у вас есть!

— Но позвольте узнать, зачем они вам и кто вы такая?

Кавалер хлопает себя по голенищу хлыстом и внушительно, с мутными глазами, устремленными на меня, цедит сквозь зубы:

— Так с дамами не разговаривают.

— А вы кто такой? Насколько понимаю, вы оба русские, но, очевидно, служите в сербской железнодорожной полиции? Покажите в таком случае ордер на ваши допросы и требования.

И тут дама наливаясь кровью и поспешно, запальчиво кричит:

— Мы нигде не служим, но именно как русские требуем немедленно объяснить нам, по какому праву вы едете в отдельном вагоне? Я председательница русского женского клуба в городе Ниш, к которому мы сейчас подъезжаем, и я не позволю вам ехать по-царски в то время, как прочие русские беженцы...

Сдерживая себя, я перебиваю ее:

— Но вспомните, сударыня, что ваше звание еще не дает вам права позволять или не позволять мне ехать по-царски: вагон болгарский, территория сербская, и я не ваш подданный. Кроме того, вагон этот предоставлен болгарским правительством в мое распоряжение с тем условием, что я возвращу его из Белграда в целости и сохранности. Я пустил вот этих сербов уже в пути, в Сербии, только потому, что они не завладеют вагоном, не приведут его в совершенно безобразный вид, меж тем как русские беженцы...

— Так с дамами не разговаривают! — уже совсем грозно возвышает голос «земгусар».

Я опять не обращаю внимания на этого щеголя и уже довольно бешено хочу крикнуть даме, чтобы она убиралась к черту, как она опережает меня своим криком:

— Я завтра же телеграфирую сербскому королю! Я не позволю... Мы не позволим...

И тогда я сразу обрываю эту нелепую сцену: со всего размаха хлопаю перед самым носом дамы дверь и запираю ее на ключ. Кавалер начинает колотить в нее, но тут поднимают крик сербы — и через минуту и он, и дама исчезают...

Целых тридцать лет прошло с тех пор. Однако я очень живо вспомнил эту сцену, прочитав статейку доселе неизвестного мне Георгия Александрова, напечатанного ее 27 октября в «Новом русском слове» в восхваление Есенина как поэта и человека и в защиту его от моих суждений о нем в моих «Воспоминаниях». Статейка эта написана Александровым с употреблением слова «мы» и, значит, не только от его имени, но и от имени каких-то его единомышленников, и кончается так:

«Мы ни там, на родине, ни здесь, за рубежом, не позволим никому порочить память Есенина».

Как видите, опять: «Мы не позволим!» И это по запальчивости и необдуманности хуже даже криков председательницы русского женского клуба в Нише. И весьма любопытно было бы узнать, каким способом г. Александров и его друзья не позволят порочить есенинскую «светлую память», как он выражается в другом месте, не только «там, на родине», но и «здесь, за рубежом»?

Дама из Ниша могла, по крайней мере, утешать себя тем, что она где-то председательствует и может напугать меня телеграммой сербскому королю. Но где председательствует г. Александров и чем может напугать он кого-то «там, на родине», а *меня* «здесь, за рубежом»?

Статейку свою («Памяти Есенина») г. Александров написал, во-первых, потому, что в нынешнем году, в декабре, исполнилось 25 лет «со дня трагической гибели замечательного русского поэта, задохнувшегося в безвоздушном пространстве, именуемом СССР», а во-вторых, по той ужасной причине, что «маститый писатель И.А. Бунин в своей книге «Воспоминаний» посвятил Есенину строки, которые оскорбительно и больно отозвались в сердце каждого из новых эмигрантов, унесших с собой с родины среди самых дорогих воспоминаний память о безвременно погибшем поэте, которого читала и пела вся подъяремная и закабаленная советская Русь...».

Насколько замечателен Есенин как поэт, мне спорить с Александровым не стоит: у нас с ним вкусы, конечно, очень разные — уже хотя бы по одному тому, что я занимаюсь литературой лет шестьдесят, и довольно серьезно, а Александров, насколько понимаю, еще новичок в ней. И то, что вся «советская Русь» читала и пела Есенина, для меня еще не доказательство его поэтической ценности. Вот, например, од-

но из стихотворений Есенина, доказывающих его будто бы пламенную и трагическую любовь к деревне:

Мир таинственный, мир древний,
Ты, как ветер, затих и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменистые руки шоссе.
Как испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть!

Ну как ты поладить мне с Александровыми? «Мир, как ветер, затих и присел... Как испуганно в снежную выбель заметалась звенящая жуть...» Я всего этого просто не понимаю, и то, что «вся советская Русь» распевает такие стихи — а таких у Есенина великое множество, — еще не доказательство моей преступности перед Есениным. Да и мало ли что пели когда-то в России и задолго до большевиков, и при них: вся мещанская Россия чуть не со слезами пела многие годы «Чудный месяц плывет над рекою», вся «передовая», левая — «Есть на Волге утес» — стихотворение одно из самых глупых во всей мировой поэзии:

Есть на Волге утес, диким мохом оброс
От вершины до самого края,
И стоит сотни лет, только мохом одет,
Ни нужды, ни заботы не зная...

Бесспорно, утес этот совершенно замечателен: стоит себе сотни лет, только мохом одет, ни нужды, ни заботы не зная, хотя, кажется, вообще не полагается утесам знать нужду и заботу. На нем, кроме того, думал свои гениальные думы сам Стенька Разин, и он, утес, мог передать эти думы тому «смельчаку», который отважился бы взлезть на него ночью. Однако поэтические достоинства стихов про этот утес столь же не велики, как и стихов «Из-за острова на стрежень» и «Солнце всходит и заходит», тоже петых «всей» Россией. Сходила с ума когда-то «вся» Россия и от Надсона, Бальмонта... А что случилось с ними теперь? Есенин был от природы талантлив. А Бальмонт разве нет? Даже несравнимо с Есениным.

Память, которую оставил по себе Есенин как человек, далеко не светла. И то, что есть теперь люди, которые называют ее светлой, — великий позор нашего времени. Даже нигилисты, даже самые отпетые разночинцы 60—70-х годов просто поражены были слухом, будто Некрасов нечисто играет в карты. А теперь нет даже самых подлых, самых бесчисленных низостей, самой бесстыдной лжи, которая не прощалась бы писателю. И вот взять

хоть ложь: когда-то Есенин, отбывая повинность в первую мировую войну, пустил слух, что он попал в дисциплинарный батальон — и за что же? — за то, что будто бы «отказался написать стихи в честь царя»! Кто-то требовал написать, а он, видите ли, отказался и пострадал! Он вообще не стеснялся во лжи, в актерстве на каждом шагу, всячески — то воспевая Ленина, слава которого «шумит, как ветер, по краю», и новую (ленинскую) эру, которая, по словам Есенина, была «не фунт изюма вам», то рыдая через некоторое время после того, что его деревенский мир «затих и присел, и в снежную выбель испуганно заметалась звенящая жуть». И все эти штучки неизменно служили к пущей его славе. В роли же скандалиста, хулигана, пьяницы, допившегося до белой горячки, в которой он и повесился, в роли пролазы всюду, куда только возможно, в роли циника, путешествовавшего по Европе и Америке с весьма уже не юной Дункан и бывшего ее смертным боем в каждом отеле Европы и Америки, — в этой роли ему поистине не было равного. А вот Александров в своей статейке утверждает, что поведение Лермонтова в петербургском свете и на Кавказе было ничуть не лучше поведения Есенина. И что на это скажешь? Тут надо уже просто кричать «караул»!

Под конец вынужден я отметить уже совершенно непростительную дерзость Александрова относительно русской миллионной эмиграции, относительного этого великого и страшного исторического события:

«Мы не знаем, — говорит он, — чем жило и дышало старшее поколение наших соотечественников за рубежом, вдали от родины, среди чужих людей. Может быть, для них, законсервированных в скорлупе приятных дореволюционных воспоминаний, продолжавших тридцать лет воспевать уютную жизнь дворянских усадеб, Есенин был только пьяница...»

Он, видите ли, не знает, что после того, как десятки тысяч русских людей сложили свои головы в «Ледяных» и прочих походах, сотни тысяч уцелевших тридцать лет добывали себе кусок хлеба самым тяжким черным трудом в Болгарии, Сербии, Чехии, во Франции! Он даже сотням тысяч крестьян-эмигрантов приписывает мечты о дворянских усадьбах!

И вот еще что: он пугает нас, «законсервированных в скорлупе», еще тем, что русский язык за эти годы очень изменился и может случиться так, что «произведения многих наших старых, когда-то пользовавшихся заслуженной известностью писателей, не заинтересуют современного нового читателя ни своей тематикой, ни классическим уста-

ревшим слогом, ни кругом идей, совершенно чуждых новому поколению...»

Ну можно ли так без конца договариваться до чертиков! Александров в восторге от того, как великолепно изменился русский язык «там, на родине» за последние тридцать лет, как блистает теперь «советская» литература новым слогом, новой тематикой, новыми идеями. Но как же после этого верить Александрову, что Есенин повесился в «безвоздушном пространстве», именуемом СССР? Ведь там, оказывается, бесконечно многое стало так ново и чудесно! Вплоть до «круга» каких-то «идей», перед которыми, на взгляд тамошнего «нового поколения», наши идеи — старье, убожество!

Ив. Бунин

<7 января 1951>

К МОЕМУ ЗАВЕЩАНИЮ

Май 1942 года.

В России осталось много всяких писем ко мне. Если эти письма сохранились, то уничтожить их все, *не читая*, — кроме писем ко мне более или менее известных писателей, редакторов, общественных деятелей и т.д. (если эти письма более или менее интересны).

Все *мои* письма (ко всем, кому я писал во всю мою жизнь) не печатать, не издавать. С просьбой об этом обращаюсь и к моим адресатам, то есть к владельцам этих писем. Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, — в силу разных обстоятельств. (Один из многих примеров письма к Горькому, которые он, не спросив меня, отдал в печать.)

Умоляю разных литературных гробокопателей не искать и не печатать моих стихов и рассказов, рассеянных по разным газетам и журналам и никогда мною не введенных в издания моих книг: я многое печатал только по той бедности, в которой часто бывал. Насчет же того, что введено в издания моих книг, я делаю указания.

Ив. Бунин

Самое ужасное: заваливают хорошее детским, плохим.

Ив. Бунин

К МОЕМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЗАВЕЩАНИЮ

Париж, 1951 г.

Если будет после меня издание моих литературных работ, то вот мои указания, каково оно должно быть:

Это издание должно быть повторением берлинского издания «Петрополис» (Берлин, 1934 г.) с теми добавлениями к нему, кои я указываю здесь ниже.

В это новое будущее издание должен войти *отдельным томом мой перевод «Песни о Гайавате» Лангфелло*, текст которого (с моими поправками) взять из парижского издания (К-во «Север», Париж 1921 г.).

Отдельным же томом должны быть изданы и три «Мистерии» Байрона, переведенные мною. Этот том должен быть повторением берлинского издания этих «Мистерий» (К-во «Слово», Берлин 1921 г.).

Из всех остальных моих переводов взять *только* следующее:

1. Крымские сонеты Мицкевича (три сонета: Аккерманские степи, Чатырдах и Алушта ночью).

2. «Годива» Теннисона (по тексту в «Нивском» издании Маркса моих сочинений, Петербург 1915 г.).

3. Из «Золотой легенды» Лонгфелло: 1) Рождественская ночь, 2) Очарованный инок, 3) Эльза. Все это, т.е. сонеты, Годива и из «Золотой легенды» разместить (следуя хронологии моих работ над этими переводами) среди моих оригинальных стихов. *Стихи и эти переводы — отдельный том.*

Какими по счету томами должны идти в будущем собрании моих сочинений «Песнь о Гайавате» и «Мистерии», сейчас, конечно, нельзя сказать. Во всяком случае они должны идти *после последнего тома моих оригинальных художественных писаний*. Но что будет в этом предполагаемом последнем томе и какой он будет по счету? Это зависит от того, напишу ли я еще что-нибудь после книги «Темные аллеи» и некоторого другого написанного мною за последние годы и еще не изданного отдельной книгой (смотри пакет, в котором «Зимний сон» и прочее).

Ввести в это будущее собрание моих сочинений тоже отдельным томом «Освобождение Толстого». Это — после двух выше указанных томов (т.е. двух томов переводов). Для перепечатки взять исправленный мною экземпляр «Освобождения», — он находится при этом завещании, как и все прочее.

И еще отдельный том — после «Освобождения» — под заглавием «Записи». Материал для этого тома тоже находится в пакетах, которые лежат вместе с этим завещанием.

В маленьком предисловии к собранию моих сочинений, изданному «Петрополисом», — смотри *первый* том этого издания, — я сказал об ужасном издании моих сочинений 1915 года (приложение к «Ниве») и выразил твердое желание, чтобы в будущее собрание моих сочинений не было взято ничего (кроме уже взятого мною для издания «Петрополиса») из этого приложения. Я указал, почему я был вынужден дать Марксу многие из очень слабых моих вещей, написанных мною в первые годы моей литературной деятельности со всей небрежностью, присущей мне в ту пору, и напечатанных большею частью из-за нужды или по слабости характера: «дайте что-нибудь нам!» — и давал; слава Богу, что еще далеко не все дал Марксу — и *горячо прошу все это не данное мною не разыскивать по разным газетам, иллюстрированным журнальчикам и книжкам, вроде изданий Д.И. Тихомирова*. Теперь думаю, что все-таки кое-что можно взять из «нивского» издания и ввести в будущее собрание моих сочинений — как добавление к этому будущему собранию.

Сперва скажу о прозе.

Из *второго* тома «нивского» издания можно взять в будущее собрание *только* следующие рассказы: На край света, На Донце, Антоновские яблоки, Эпитафия, Над городом, Новая дорога, Сосны, Мелитон, Костер, Новый год, Надежда. Все это печатать *по исправленным и сокращенным мною текстам*. (Смотри пакет с этими рассказами.)

Из *четвертого* тома «нивского» издания можно взять следующие рассказы: Сны, Золото дно, Заря всю ночь, Иля, Цифры, Зеркало, Белая лошадь (прежнее заглавие — «Астма»), Маленький роман, Птицы небесные. — Некоторые заглавия этих рассказов были прежде иные, я их изменил.

Исправленные и сокращенные тексты этих рассказов тоже находятся в вышеупомянутом пакете.

Все это (из II и IV т.) ввести в собрание, *следуя хронологии*.

Указания насчет стихов я делаю на книжках («Нивских») стихов.

Есть, кроме того, (приложенный здесь же) пакет стихов, *писанных рукой*, — эти стихи тоже можно ввести в будущее собрание.

Всё — и стихи и проза — что я не ввожу в *это* собрание моих сочинений, напечатать, *если это нужно, как приложение к нему*.

После меня явится, может быть, у кого-нибудь мысль печатать мои письма, дневники, записные книжки. О

письмах я уже написал в другом месте («К моему завещанию»): я чрезвычайно прошу *не* печатать их, — я писал их всегда как попало, слишком небрежно и порою не совсем кое-где искренно (в силу тех или иных обстоятельств), да и просто неинтересно; из них можно взять только кое-какие отрывки, выдержки — чаще всего как *биографический материал*. (Если бы нашелся умный и тонкий человек, который мог бы выбрать эти отрывки!) Дневники мои тоже, по моему, мало интересны (в общем). Их я тоже писал как попало и с большими промежутками. Да и уничтожил я очень большое количество этих записей. Против печатания их, впрочем, не имею такой решительности, как против писем. — Записные книжки *можно* печатать.

Издать отдельным томом русские и иностранные рецензии и статьи обо мне (начиная с самой первой — И.И. Иванова в «Артисте», не помню, какого года 1889? 1890?). Но, конечно, взять эти рецензии и статьи *в выдержках* — как русские, так и иностранные (последние должны быть *переведены* на русский язык).

Чемодан с этими рецензиями и статьями (конечно, собранными — да и то неполно — только *за время эмиграции*) находится в Париже, на нашей квартире — 1, рю Жак Оффенбах. Сохранилось ли то, что осталось в Москве, не знаю.

Ив. Бунин

К МОИМ «ВОСПОМИНАНИЯМ»

В 1905 году, в конце сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня: все вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете, — было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставить в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности: часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому трудно было покинуть этот уже став-

ший чуть ни родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где уж особенно все оставалось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узкая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда читал что-нибудь, лежало «Воскресенье» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной, и, возвращаясь от него, каждый раз говорил мне, тоже жившему тогда в Ялте, с величайшим изумлением:

— Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное! Лежит в постели старик, телесно едва живой, краше в гроб кладут, а умственно не только гениальный, а сверхгениальный!

Эта печальная и однообразная жизнь моя в доме Чехова в 1905 году была однажды внезапно нарушена криком в телефон одной ялтинской дамы, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились все железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец... Я тотчас побежал в город: какие-то жуткие сумерки, везде кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что кричала нам в телефон ялтинская дама... На другой день стало известно уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят, в Ялте не получают ни письма, ни газеты, почта и телеграф закрыты... Меня охватил просто ужас при мысли застрять в Ялте. Побежал на пристань — слава Богу, завтра идет пароход в Одессу! Решил этим путем доехать до Москвы.

Утром 18 октября проснулся от волнения в пять часов, до отчаяния грустно простился с Марьей Павловной и с Евгенией Яковлевной, в 8 уехал на пристань. Шла «Ксения». На душе была тяжесть, тревога, погода хмурилась. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских ворот, и на душе стало немного легче, спокойнее. В Севастополе тотчас сбежал с парохода в город. Купил «Крымский вестник», с жадностью стал читать возле памятника Нахимову — и вдруг слышу голос стоявшего рядом со мной бородатого жандарма: говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест о даровании свободы слова, союзов и вообще «всех свобод». Взволновался до дрожи рук, поехал в редакцию «Крымского вестника». Там прочел наконец манифест. Чувство ве-

ликого и, может быть, страшного события! Ночью на пароходе, на пути в Одессу, долго стоял с вахтенным матросом на носу: настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая, говорит ровно, не повышая голоса, глядя на темную равнину бегущего навстречу моря...

Почти полвека прошло с тех пор! Но вот недавно опять вспомнил я слова Чехова об умственных способностях Толстого, лежавшего почти при смерти на даче Паниной в Крыму, а вслед за этим то, как решительно и кратко определил ум Толстого Максим Горький:

— *Ум небольшой, но беспокойный.*

Столь же кратко и решительно определил он и разницу между Толстым и самим собой:

— Толстой сказал моему другу Владимиру Поссе, что из всех моих произведений он одобрил только «Ярмарку в Голтве». И, разумеется, сие как нельзя более понятно: он же, этот Толстой, прозаик, а я — романик!

Можно ли, однако, судить строго Горького за такие слова? Ведь как сказочно и балаганно знаменит он был с самого начала своего литературного поприща и до своих последних дней! Вот он однажды читал Сталину, Ворошилову и Молотову свою сказку в стихах «Девушка и Смерть». И Сталин собственноручно надписал на печатном тексте его сказки: «Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гете».

Как ни гениален был Сталин, нельзя было бы поверить этой надписи, но вот передо мною лежит большая брошюра под заглавием «Жизнь и творчество Горького», издание какого-то «Детгиза», и в ней эта надпись сфотографирована.

Не очень высокого мнения о Толстом был и Леонид Андреев. Я однажды, в Москве, в ту пору, когда звезда Андреева стояла особенно высоко, зашел к доктору Доброву, свояку Андреева, и увидел и услышал следующее: доктор сидит и курит на диване, а коротконогий Андреев, в поддевочке и в сапожках, ходит по кабинету тоже с папироской в руке и, глядя в пол, энергично протестует:

— Нет, Филипп, ты все-таки не прав. Ты ставишь меня выше Толстого. Очень приятно слышать. Но ты уж слишком унижаешь его. Вспомни хотя бы то, с какой силой бичевал он пошлость!

Эта речь сделала бы честь сумасшедшему или идиоту. Но Андреев не был ни сумасшедшим, ни идиотом. Он только слишком ошеломлен был своей славой после дикого успеха его смехотворно трагической «Бездны», патологически отвратительного «Василия Фивейского», «Красного Смеха», «Царя Голода», где смерть, притоптывая, ест бутерброд, но порою, когда ему не нужно было играть роль

великого и мрачнейшего в мире писателя или во хмелю, среди приятелей, бывал прост, мил, шутлив: до сих пор вспоминаю с улыбкой, как зимой 1913 года он приехал на Капри, остановился в том же отеле, где жили мы, вошел в мою комнату солнечным ранним утром, держа в руке стакан с умывальника (с надписью Odol), полный белым вином, и вдруг весь отшатнулся, безумно глядя на меня:

— Что такое? Что с тобой? Ты сбрил свою бородку? Ну, знаешь, это замечательно! С бородой ты козел обыкновенный, а без бороды ты козел необыкновенный!

P.S.

Еще несколько строк в добавление к моим «Воспоминаниям».

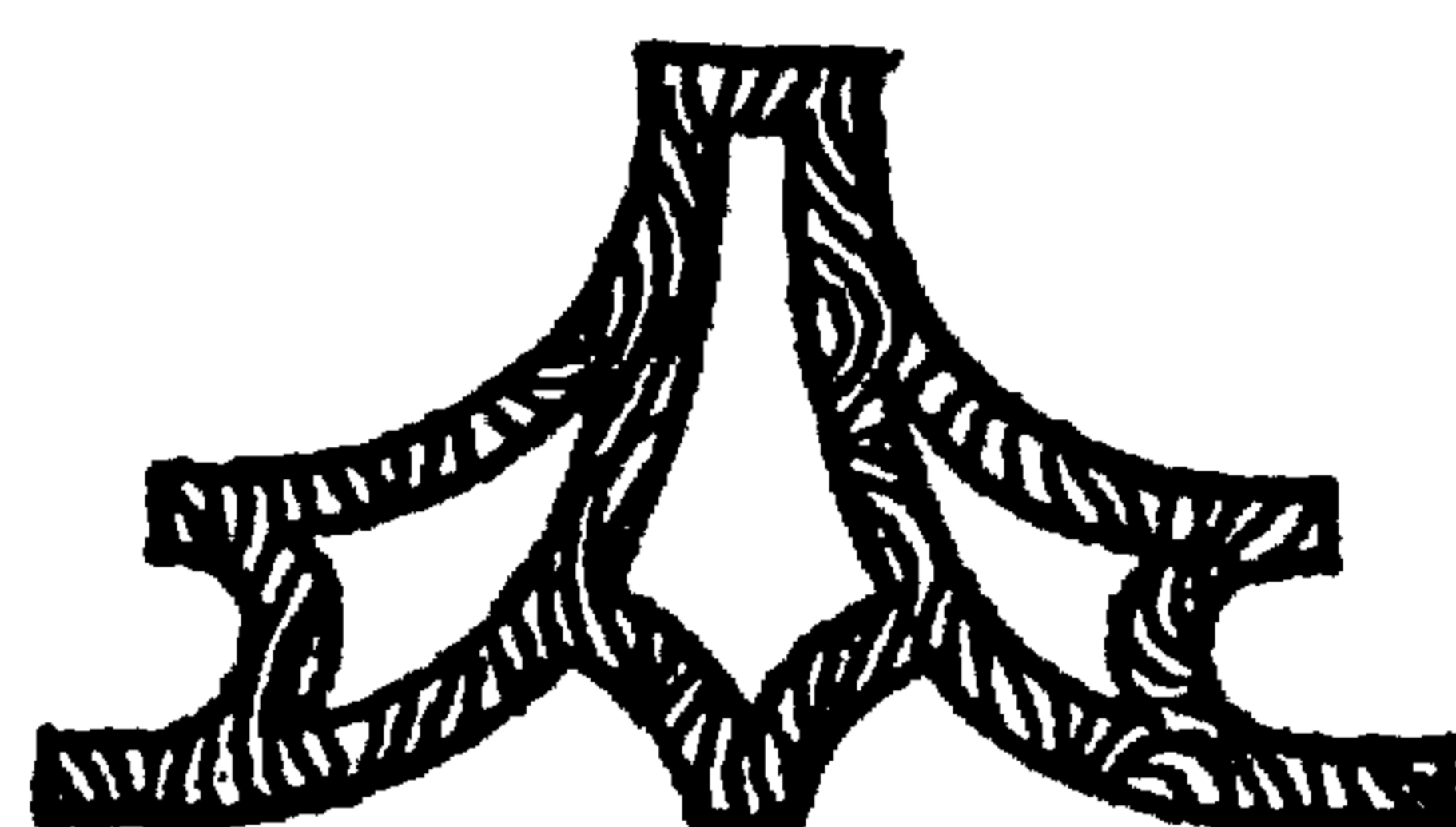
В Париже уже довольно давно выходит два раза в неделю газетка «Русская мысль», которую, помимо ее редактора, В.Лазаревского, возглавлял и возглавляет В.Зеелер, бывший известен в свое время в качестве недоброй памяти учредителя «Казачьего банка», а морально — писатель Шмелев, такой горячий поклонник Гитлера, что даже отслужил однажды благодарственный молебен в Париже по случаю захвата Гитлером Севастополя, и писатель Зайцев, великий любитель Италии и автор бесконечного «Путешествия Глеба», пишущий в свободное от этого «Путешествия» время еще и биографии, — то Тургенева, то Жуковского, который, по весьма развязным словам Зайцева, был «с юности начинен возвышенностями», а в поездке по России со своим воспитанником, будущим императором Александром Вторым, «подзакусывал» с ним на станциях, больше всего «действуя по пирожкам», меж тем как будущий император «налегал на чай». А все это я клоню к тому, что В. Зеелер выдумал и напечатал в «Р<усской> м<ысли>» с год тому назад нечто довольно удивительное обо мне и о Чехове: я будто бы в самом гнусном виде изобразил когда-то Чехова (будто бы идущего под зонтом и со свечкой в руке в отхожее место) и напечатал эту гнусность в «Современных записках». Я, конечно, ничего подобного никогда не изображал и не печатал, но нелепая ложь Зеелера была и есть вполне законна в том потоке лжи, которой целых три года, при безмолвном соучастии Зайцева, старалась опозорить меня «Русская мысль», начав со лжи о том, будто я совершил «сальто-мортале» к большевикам. А потом клеветать на меня в том же роде усердно принялась госпожа Степанова в «тетрадах» «Возрождения», каковые «тетради» редактирует ее муж, С.П. Мельгунов: она утверждает, что я вел с парижскими большевиками «переговоры» относительно моего возвращения в Москву, не сообщая, впрочем,

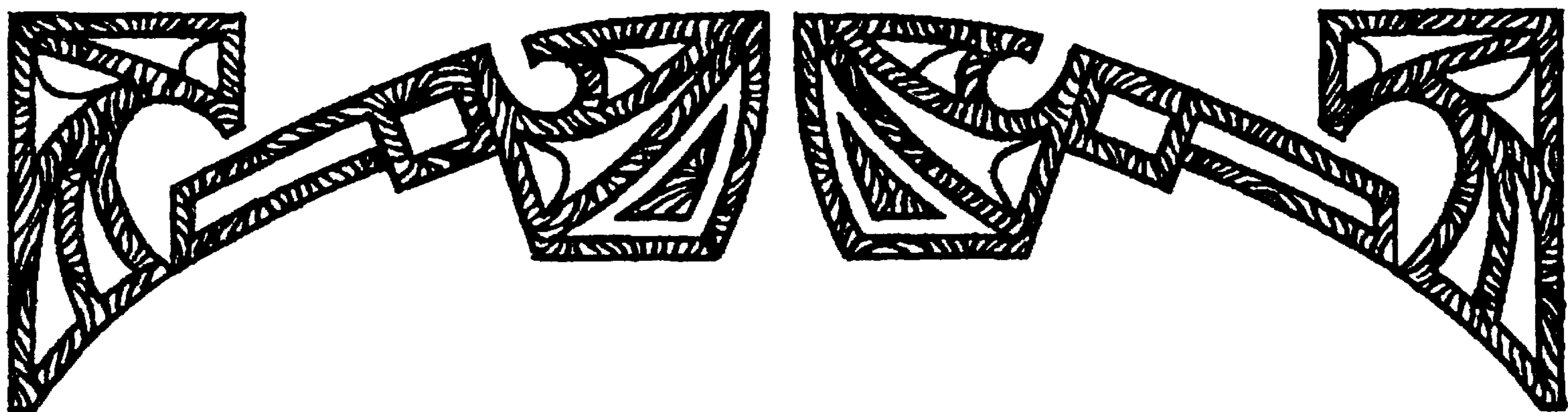
почему я все-таки остался в Париже. «Вероятно, не сошелся в цене с большевиками за это возвращение», подумает какой-нибудь умный читатель «тетрадей».

В конце концов я уж готов был *«покаяться»* перед Зееле-ром и Степановой и просить их о *«высшей мере наказания»* для меня, но тут меня спас шестой выпуск новой «советской» энциклопедии, где сказано, что я одержим *«совершенно бешеной ненавистью к советскому союзу»*.

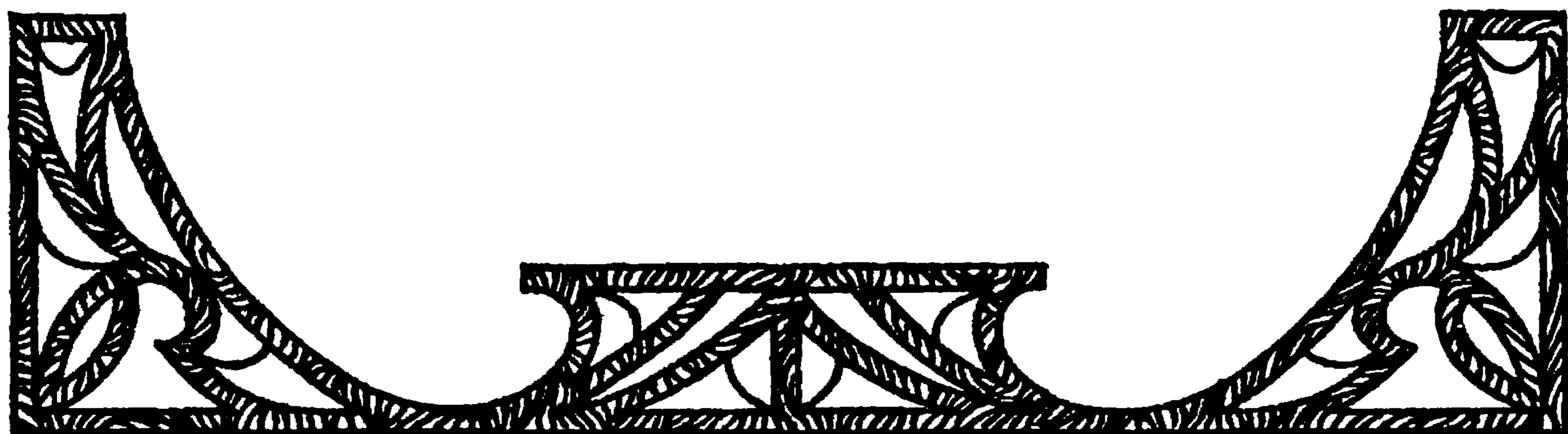
Ив. Бунин

6.5.1953. Париж





КОММЕНТАРИИ





СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Дневник — Устами Буниных. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы / Под ред. Милицы Грин: В 3-х т. Франкфурт-на-Майне, изд-во «Посев». Т. 1, 1972; т. 2, 1981; т. 3, 1982.

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. М.Горького Российской Академии наук.

ЛН — Литературное наследство. М., Наука, 1973. Т. 84. Кн. 1–2.

«Материалы» — Бабореко А. К. И.А. Бунин. Материалы для биографии. 2-е изд. М., Художественная литература, 1983.

МТ — Государственный литературный музей И.С. Тургенева в Орле.

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.

РГБ — Российская государственная библиотека.

СТАТЬИ

Страшные контрасты (стр. 351)

Газ. «Одесские новости», 1918, № 10839, 10 ноября. После революции были сожжены Тригорское, Петровское, связанные с именем Пушкина, и его Михайловское (газ. Правда», 1989, № 310, 6 ноября: «Осмысливая связь времен»). Газета «Русские ведомости» (М., 1917, № 243, 24 октября) сообщала о том, что было сожжено имение Пирогово Тульской губ., которое «принадлежало еще отцу Льва Николаевича <Толстого> и являлось, как и Ясная Поляна, родовым толстовским гнездом. Лев Николаевич провел много дней своей жизни в Пирогове, где все полно воспоминаниями о нем и где за несколько лет до своей смерти он схоронил останки старика-брата <Сергея Николаевича> на местном кладбище».

Стр.351. *Петерс* Яков Христофорович (1886—1938) — член Петроградского ВРК. С 1917 г. член коллегии ВЧК; в 1918 г. председатель Ревтрибунала, с 1923 г. член коллегии ОГПУ.

<Привет союзникам> (стр. 352)

«Огоньки. Литературно-художественный еженедельник». Одесса, 1918, № 30, 7 декабря. Заглавие принадлежит редакции еженедельника, опубликовавшей высказывания «Академика И.А. Бунина» и других писателей.

О союзниках в Одессе в 1918 г. пишет в дневнике В.Н. Бунина. Здесь были части Добровольческой армии генерала А.И. Деникина, вступившие в город 24 августа 1918 г. 26 ноября в порт пришел английский миноносец; 27 ноября, «вероятно, — говорил Бунин, — англичане заняли почту, телеграф и электростанцию». Французский десант в десять тысяч человек высадился 17 декабря 1918 г. Бунин откликнулся на это событие стихотворением «22 декабря 1918 г.» (см. т. 1, с. 418—419 наст. изд.).

В городе шли сражения добровольцев и французов с петлюровцами. Военные части С.В. Петлюры, боровшегося за «самостийную» Украину, были побеждены. Ивана Алексеевича, пишет Вера Николаевна в дневнике, «очень трогает самоотверженность добровольцев» (*Дневник*, т. I, с. 201).

События нерадостные, большевики занимают некоторые города. Бунин говорил Вере Николаевне: «...была русская история, было русское государство, а теперь его нет. Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь нет и истории никакой. <...> Мои предки Казань брали, русское государство создавали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловы! Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен был быть писателем, а должен принимать участие в правительстве»...

«Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую и вступить в правительство. Ведь читать газеты и сидеть на месте — это пытка, ты и представить не можешь, как я страдаю» (там же, с. 202).

Стр. 352. *Карахан* Лев Михайлович (1889—1937) — секретарь советской делегации на переговорах о Брестском мире в 1918 г.

Заметки (стр. 352)

Печатаются по тексту журнала «Звезда», 1993, № 9.

Каждую из «Заметок» обозначаем начальными словами текста.

«Опять еврейские погромы...» (стр. 352)

Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 51, 2 ноября. Печатается по ксерокопии, полученной из Архива Лидского университета; этот текст содержит рукописные исправления автора, которые учитываются нами при печатании статьи.

Стр. 353. ...*Ленин... отец его... волжский крестьянин*. — Эту точку зрения Бунин впоследствии пересмотрел.

Еврейские погромы происходили по окраинам Российской империи. Власти Деникина, пишет Бунин, «всячески добивались <...> прекращения кровавых событий».

«Был и, слава Богу, еще есть...» (стр. 356)

Газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 67, 21 ноября.

Стр. 356. *Наживин* Иван Федорович (1874—1940) — писатель, автор сборников рассказов и романов. В 1920 г. эмигрировал.

Наживин говорил Бунину: «Вот, Иван Алексеевич, как я раньше вас ненавидел, имени вашего слышать не мог, и все за народ наш, а теперь низко кланяюсь вам. <...> И как я, крестьянин, не видел этого, а вы, барин, увидели. Только вы один были правы». (Запись В.Н. Буниной в дневнике 5 января 1919. *Дневник*, т. I, с. 205.)

В эмиграции Наживин отрекся от этих оценок произведений Бунина из народной жизни; теперь он иронизировал, будто бы Бунин «спасает культуру своими акафистами пьяному псарю» (письмо Наживина — М.А. Алданову 28 ноября 1934 г. *РГАЛИ*), и писал на манер большевистских пропагандистов,

что «эмиграция вся сгнила» (т а м ж е). О Нобелевской премии Бунина Наживин написал статью «Стокгольмские идиоты, или Венчание мертвеца» (ее никто не напечатал): З. Шаховская. Отражения. Париж, 1975, с. 8.

Стр. 357. *Василевский* (Не-Буква) Илья Маркович (1882—1938) — журналист, писатель. О нем Бунин писал в статье «Из записной книжки»: газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 263, 4 апреля; см. в наст. томе.

Овсянко-Куликовский — см. с. 509.

Стр. 358. *Старик Шор* — Соломон Шор, отец Давида Соломоновича Шора, спутника Бунина во время его путешествия в Палестину в 1907 г. Сотрудница Иерусалимского университета Маша Гольдман пишет: «Соломон Шор, который является прототипом спутника героя «Иудеи», умер в Симферополе в годы гражданской войны (видимо, в 1921—1922 годах) в возрасте 84 лет. Был человеком действительно незаурядным. Д. Шор написал о нем воспоминания, которые опубликованы на иврите в альманахе «Нааваг» («Прошедшее») за 1975 г., Tel-Aviv. Так что в 1907 году ему было около 70 лет». (Письмо от 14 декабря 1997.)

«Из «Великого дурмана» (стр. 358)

«Скоробь земли родной. Сборник статей 1919 г.». Нью-Йорк, 1920. Печатается этот текст. Ранее публиковалось в газ. «Южное слово», Одесса, 1919, № 82, 7 декабря.

Под заглавием «Из «Великого дурмана» были напечатаны в «Южном слове» в 1919 г. еще две статьи: в № 76, 13 ноября, — ее текст почти полностью вошел в «Окаянные дни», — и в № 88, 13 декабря, ее основное содержание также повторяет то, что писал Бунин в «Окаянных днях» и в различных статьях. Обе эти публикации «Из «Великого дурмана» мы не включаем в настоящий том.

Бунин вместе с искусствоведом академиком Н.П. Кондаковым редактировал газету «Южное слово» и многое в ней публиковал: стихи и прозу — см. «Материалы», с. 262.

Он выступал с лекциями о русской литературе и русском народе. О его выступлениях сообщала газета «Одесский листок» 12 и 25 сентября 1919 г. Вера Николаевна пишет 21 сентября: «Ян совсем охрип после лекции. Он не сообразил, что читать ее дважды ему будет трудно. Кроме того, он так увлекся, что забыл сделать перерыв, и так овладел вниманием публики, что три часа его слушали, и ни один слушатель не покинул зала. <...> Когда он кончил, то все встали и долго, стоя, хлопали ему. Все были очень взволнованы. Много народу подходило ко мне и поздравляло».

Эту лекцию Бунин повторил 3 октября. «Публики было еще больше. Не все желающие попали. Слушали опять очень хорошо. Ян читал лучше, чем в прошлый раз, с большим подъемом» (т а м ж е, с. 263—264).

Стр. 359. *Из опрокинутой лоханки...* — неточная цитата из стихотворения А. Мариенгофа «Днесь» (1918). У автора: «Кровь,

кровь в миру хлещет, // Как вода в бане // Из перевернутой разом лоханки...»

Пушкинский бунт. — В романе «Капитанская дочка» Пушкин писал: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

Стр. 362. *Хмельницкий* Богдан (Зиновий) Михайлович (1595—1657) — гетман Украины; 8 января 1654 г. провозгласил воссоединение Украины с Россией.

Суп из человеческих пальцев (стр. 364)

Газ. «Свободные мысли», Париж, 1920, № 2, 27 сентября.

Стр. 364. *Уэллс* Герберт Джордж (1866—1946) — автор научно-фантастических романов «Машина времени», «Человек-невидимка», «Война миров» и др., выразил в книге «Россия во мгле» (1920) свои просоветские симпатии.

Стр. 366. *Андреев* Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель. В статье от 5 февраля 1919 г. «S.O.S.» («save our souls», что в переводе с английского означает «спасите наши души») призывал народы мира защитить Россию от лютого варварства большевиков и их вождей — Ленина и под стать ему — «кровавого шута Троцкого»: «Идите на помощь людям, гибнущим в России. <...> Формируйте батальоны и армии!» (Андреев Леонид. S.O.S. Дневники... Письма... Статьи... Воспоминания современников. Под редакцией и со вступительной статьей Ричарда Дэвиса и Бена Хельмана. М.; СПб., 1994, с. 337, 338, 347).

Статья была напечатана в газете «Общее дело», Париж, 1919, № 40, 24 марта и в этом же году на многих европейских языках, также в Америке (там же, с. 508—510).

Бунину, несомненно, была известна публикация в газете «Одесский листок», 1919, № 98, 25 августа: «Спасите наши души, спасите!» (Статья Л.Н. Андреева).

В своей статье Андреев писал: «В эти скорбные дни, когда презрение, издевательства и насмешка глупцов стали уделом больной и поверженной России, я с гордостью ношу имя русского и твердо верю в ее грядущую славную жизнь. Так же твердо верю, как верю в твое будущее, благородная Франция, и твое, Германия, наш побежденный враг, и твое, старая и мудрая Европа, мать мира и наша общая мать.

Такие колоссы, как Народ Русский, не погибают! Придут ли правительства Согласия на помощь своему союзнику России, или предоставят ей самой выбираться из гнилой трясины, — Россия в урочный час встанет со своего одра и выйдет просветленно и по праву займет свое место среди великих народов мира». (Андреев Леонид. «Верните Россию!» М., «Московский рабочий», 1994, с. 167.)

Стр. 367. ...— *Ах, зачем ты не сделала аборт!* — неточная цитата из стихотворения А. Мариенгофа «Твердь, твердь за вихры зыбим...» (1918). У автора: «Мария, Мария, кого вынашивала! // Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!...»

Каменев — см. с. 493.

Красный гимн (стр. 368)

Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 101, 24 октября.

Стр. 369. *Аспазия* — гетера, женщина свободного поведения; от имени Аспазии (ок. 470 до н.э. — ?) — второй жены Перикла, отличавшейся красотой и умом.

«Пресловутая свинья» (стр. 370)

Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 107, 30 октября.

Стр. 370. *Раковский* — см. с. 505.

Стр. 371. «*Абрашка-гармонист*» — Регинин В.А. Подробнее см. с. 507.

Григорьев — см. с. 504.

Стр. 372. *Подвойский* — см. с. 510.

Стр. 374. *Князев Василий Васильевич* (1887—1937 или 1938) — поэт-сатирик и автор революционных песен.

Малашкин Сергей Иванович (1888—1988) — писатель, автор сборников стихов о революции, романов, повести «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» (1926), вызвавшей споры в критике.

Гастев Алексей Константинович (1882—1941) — поэт, публицист, — из тех, кого называли «пролетарскими поэтами»; в 1918 г. выпустил книгу под характерным названием — «Поэзия рабочего удара».

Филипченко Иван Гурьевич (1887—1939) — поэт, в 1918—1928 гг. сотрудник газеты «Правда»; участник революционных событий.

Несколько слов английскому писателю (стр. 375)

Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 132, 24 ноября; № 133, 25 ноября.

Стр. 376. *Амфитеатров Александр Валентинович* (1862—1938) — писатель, автор повестей, романов, рассказов. После 1920 г. эмигрировал.

Стр. 377. *Глазунов Александр Константинович* (1865—1936) — композитор, дирижер. В 1929 г. выехал за границу.

Стр. 383. ...не совсем вяжется с вашими церемиадами... — см. с. 541.

Записная книжка (стр. 384)

<О калмыках>. — Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 135, 27 ноября. В 1943 г. калмыки были высланы Сталиным в Сибирь.

Чехи и эсеры (стр. 386)

Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 162, 24 декабря.

Чехословацкий корпус (около 45 тысяч) из бывших военнопленных в России поднял мятеж в мае—августе 1918 г. в Поволжье, на Урале и в Сибири.

Стр. 386. *Мирбах* — посол Германии в РСФСР, убит 6 июля 1918 г.

Колчак — см. статью «Его вечной памяти» на с. 392 и комментарий к ней на с. 538.

Стр. 387. «*Бабушка*» — см. с. 493 и 511.

Авксентьев — см. с. 490.

Стр. 388. *Чернов* Виктор Михайлович (1873—1952) — один из основателей партии эсеров; в 1917 г. министр земледелия Временного правительства, председатель Учредительного собрания.

Стр. 389. *Минор* — см. с. 502.

Зензинов Владимир Михайлович (1880—1953) — один из лидеров эсеров. В 1917 г. редактор газеты «Дело народа». В 1919 г. эмигрировал.

В чем сила большевиков? (стр. 390)

Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 115, 7 ноября;

Газ. «Последние известия», Ревель, 1920, № 83, 18 ноября.

Это — ответ на вопросы анкеты.

Стр. 390. ...в «*похабных*» мирах... — О «похабном» Брестском мире см. с. 500.

Стр. 391. «*Вот темнота покрывает землю... И лицо поколения будет собачье...*» — Библия: Книга пророка Исаии, II:17, III:5,9; V:30; об этом же — стихотворение Бунина «Из книги пророка Исаии» (1918); он дословно повторяет фразу из Библии: «И выражение лица свидетельствует против них...» (т. I, с. 417—418 наст. изд.).

«*Надевали лавровые венки на вшивые головы*». — см. с. 510.

...*мелкий журналист... командовал... русским фронтом...* — Н.И. Иорданский (см. о нем с. 508) был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте (см.: Газ. «Путь», Гельсингфорс, 1921, № 13, 27 февраля).

Шигалев — персонаж романа Достоевского «Бесы».

«*Надо разврата... неслыханного... Русь заплачет по старым богам...*» — Бунин цитирует отдельные выражения из «Бесов»: главы 7 («У наших»), 8 («Иван-Царевич»). (Достоевский Ф. М. Полное собр. соч., т. X. Л., «Наука», 1974, с. 300—326).

Его вечной памяти (стр. 392)

Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 207, 7 февраля. В этом же номере газеты — статья А.И. Куприна «И враги человеку домашние его», в которой он пишет о А.В. Колчаке: «Год тому назад лучший сын России погиб страшной, насильственной смертью».

Колчак Александр Васильевич (1874—1920) — адмирал. В 1917 г. командовал Черноморским флотом. В 1918—1919 гг. — один из лидеров Белого движения, «верховный правитель Российского государства». 21 января 1920 г. власть в Иркутске захватили боль-

шевики, и по постановлению Иркутского ВРК Колчак был без суда расстрелян 7 февраля.

Из записной книжки (стр. 392)

Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 263, 4 апреля.

Стр. 394. *Василевский—Не-Буква*. — см. с. 535.

Газета «Известия» издавалась в Петрограде с 18 февраля/13 марта 1917 г. С 12 марта 1918 г. выходила в Москве.

А. Яблоновский — см. с. 500.

Самогонка и шампанское (стр. 394)

Газ. «Руль», Берлин, 1921, № 159, 29 мая.

Стр. 394. «*Дело народа*» — политическая и литературная ежедневная газета, СПб, 1906; редактор-издатель Г.К. Ульянов.

«*Власть народа*» — см. с. 499.

«*Воля народа*» — ежедневная газета, выходила в Петербурге в 1906 г.; редактор-издатель С.А. Гарбовский.

Стр. 395. ... *Наш мужик... «Богоносец»...* — Идею о народе-Богоносце развивает в «Братьях Карамазовых» Достоевского старец Зосима; он говорит: «От народа спасение Руси. Русский же монастырь искони был с народом... Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, даже будь он искренен сердцем и умом гениален. Это помните. Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь. Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ — Богоносец» (Достоевский Ф. М. Полное собр. соч., т. XIV. Л., «Наука», 1976, с. 285).

Стр. 396. *Вячеслав Иванов... о «Христовом лике России...»* — О Христовом лике России Вячеслав Иванов писал в статье «Лик и личины России. К исследованию идеологии Достоевского»; опубликовано в «Русской мысли», 1917, январь. См. также: Вячеслав Иванов. Лик и личины России. Эстетика и литературная теория. М., «Искусство», 1995.

Нахамкис — см. с. 493.

«*Народ перешагнул через Духонина*»... — Речь идет об убийстве генерала Н.Н. Духонина так называемыми революционными солдатами.

Стр. 397. ...*Карахан подмахнет... «похабный мир»!* — О Карахане и «похабном мире» см. с. 500, 501.

Собачья Площадки и Вшивые Горки. — Собачья площадка находилась в том районе Москвы, через который теперь проложена улица Новый Арбат. Вшивая горка — искаженное название Швиной горки, у Таганской площади.

Стр. 398. ...*вышли все семь тощих коров...* — Библия: Бытие, XXXXI: 1–4; 17–21.

...*казни египетские...* — Согласно Библии, Бог наслал на Египет десять казней за пленение евреев: воду превратил в кровь, попустил моровую язву и всякие бедствия от жаб, мошек, и т.д. (Исход, VII–XII).

Записная книжка (стр. 399)

<О Горьком>. — Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 339, 20 июня. О Горьком Бунин писал в «Nouvelle Littéraire», Париж, 1936, июнь, июль; и в письме к Г.В. Адамовичу, опубликованном в журн. «Опыты», кн. 6, Нью-Йорк, 1956. — О.Л. Книппер-Чехова в письмах к Антону Павловичу и Марии Павловне Чеховым говорит, как не по душе ей было играть на сцене Художественного театра в горьковских «Мещанах»; в «Детях солнца» «многое мне кажется, — писала она М.П. Чеховой в августе 1905 г., — банальным, давно известным, злободневным, нет настоящей поэзии, лиризма, одним словом, нет настоящей красоты, понимаешь, того, что захватывало бы душу, заставляло бы трепетать. Все трезво, поучительно» (РГБ, ф. 331, ед.хр. 77, л. 20). Книппер-Чехова спрашивает: «Неужели теперь в театре будет царить Горький. Ведь это ужасно. После того, как наш театр впитал в себя всю красоту, все благородство, изящество, поэзию и лиризм Чехова, неужели теперь все это смахнет Горький с своими поучениями; ведь он скорее публицист, его пьесы не останутся в литературе. А он уже готовит вторую пьесу, чтобы дать ее еще в этом сезоне. Это ужасно. Это мучительно... И Горький с своими пьесами не дает показать театру новые приемы» (там же).

Стр. 399. ...*Горький во главе «Новой жизни»*... — Газета «Новая жизнь» основана Горьким; выходила: апрель 1917 — июль 1918.

Милюков — см. с. 494.

Коккошин — см. с. 513.

Шингарев Андрей Иванович (1869—1918) — земский деятель, врач, публицист, один из лидеров кадетов, депутат 2-й — 4-й Государственной думы. В 1917 г. министр Временного правительства.

Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — входил в ЦК компартии; с марта 1918 г. председатель Петроградской ЧК.

Стр. 400. «*Пантеон всемирной литературы*». — Эту серию книг должно было напечатать издательство «Всемирная литература», организованное по инициативе Горького при Наркомпросе в 1918 г. в Петрограде; заведовал издательством А.Н. Тихонов; о *Тихонове* см. с. 502.

О *Гржебине* З.И. см. с. 513.

Об Эйфелевой башне (стр. 401)

Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 369, 21 июля.

Стр. 402. *Комбеды* — Комитеты бедноты: организации сельской бедноты, созданные по декрету СНК от 11 июня 1918 г.; распоряжались всем на деревне — изымали хлеб у крестьян, производили набор в армию и проч.

Иоффе — см. с. 512.

А.А. Яблоновский — см. с. 500.

Стр. 403. «*Мещанами*» Горький называл Толстого и Достоевского в «Заметках о мещанстве»: «Новая жизнь», 1905, № 27, 30 октября; № 13, 20 ноября; в частности он писал, что идеи Толстого о нравственном совершенствовании — «мещанство».

...довольно и выписок из этой... иеремиады... — Имеется в виду оплакивание древнееврейским пророком Иеремией трагической судьбы Иудейского царства в 587 или 586 гг. до н.э., о чем повествуется в Библии (Плач Иеремии, XXXIV: 7–22; Четвертая Книга Царств, XXV: I–II). Воины царя Навуходоносора разрушили Иерусалим и увели в плен многих жителей Иудеи. На ту же тему — стихотворение Бунина «Господь скорбящий». Иудейское царство язычниками Вавилонии было ликвидировано. Слово «иеремиада» по отношению к «высокопарной» статье Горького звучит иронически.

С Новым годом (стр. 404)

Газ. «Общее дело», Париж, 1922, № 531, 1 января.

Великая потеря (стр. 404)

Газ. «Общее дело», Париж, 1922, № 563, 7 апреля.

Стр. 405. *Набоков* Владимир Дмитриевич (1869–1922) — один из лидеров кадетов, публицист, депутат 1-й Государственной думы; отец писателя В.В. Набокова; был редактором-издателем «Вестника партии народной свободы» и соредактором либеральной газеты «Речь». В 1917 г. являлся управляющим делами Временного правительства. За Выборгское воззвание его заключили в «Кресты». В 1922 г. убит в Берлине: он закрыл собою П.Н. Милюкова, на которого во время публичной лекции покушались монархисты П.Н. Шабельский-Борк и С.В. Таборицкий.

«Голубь мира» (стр. 405)

Газ. «Слово», Париж, 1922, № 6, 31 июля; газ. «Сегодня», Рига, 1922, № 172, 5 августа, под заглавием «Бунин против Гауптмана».

Стр. 406. *Гауптман* Герхард (1862–1946) — немецкий писатель.

В 1922 г. в Москве был суд над эсерами, членами ЦК. Из 34 подсудимых некоторые были приговорены к смертной казни. Гауптман послал телеграмму в Москву Совету Народных комиссаров 21 июля 1922 г. — протестовал против приговора. Телеграмма была напечатана в парижских «Последних новостях» (1922, № 695, 25 июля).

...выброшены мощи... — мощи Преподобного Сергия Радонежского; находились в Троицком соборе в Троице-Сергиевой лавре. См. коммент. к статье «Миссия русской эмиграции», с. 544.

...казнены ... сотни священнослужителей... — Большевики, во главе с Лениным, ставили своей целью «разгромить наголову» («Российская газета», 1922, 24 октября) православную церковь: объявляли священнослужителей «реакционерами» и убивали их; грабили церкви, монастыри.

В 1922 г. во время голода, искусственно созданного коммунистами (о чем обстоятельно рассказал, основываясь на докумен-

тах, В.А. Солоухин), Ленин давал указания В.М. Молотову спешить с репрессиями, пока сопротивление властям голодных людей ослаблено:

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаться перед подавлением какого угодно сопротивления. <...> Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать» («Литературная газета», 1993, № 32, 11 августа.).

Голодающим помогала церковь, а Ленин приказал арестовать руководителей общественного Всероссийского Комитета помощи голодающим.

...протест против разбойного грабежа алтарей... — Ленин «строго секретно» распорядился в 1922 г.: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок» (А н а т о л и й Л а т ы ш е в. Без креста. — «Российская газета», 1992, 24 октября).

2 января 1922 г. Президиумом ВЦИК было принято постановление «О ликвидации церковного имущества». 23 февраля ВЦИК издал постановление об изъятии всех подряд церковных ценностей. Нанесением последнего «удара» руководил Троцкий; он создал комиссию из Сапронова, Уншлихта, Стукова и Галкина.

10 марта 1922 г. «нарком внешней торговли Красин направил Ленину обстоятельную докладную записку, в которой обосновывал необходимость создания за рубежом синдиката по распродаже драгоценностей» (т а м ж е).

Власть лживо уверяла, будто бы всеобщий грабеж церквей проводится для сбора средств в помощь голодным людям. А Ленин открыто заявлял, что церковные ценности нужны для пополнения казны; он писал: «Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало» (т а м ж е).

Литературные заметки (стр. 407)

Под заглавием «Литературные заметки» было напечатано две статьи: газ. «Слово», Париж, 1922, № 8, 14 августа, и № 10, 28 августа. Печатаем вторую из них.

Эти заметки — опровержение измышлений в статье, напечатанной без подписи в «Последних новостях», Париж, 1922, № 713, 15 августа.

Стр. 407. *«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан»*. — Строки из стихотворения Н.А. Некрасова «Поэт и гражданин».

Стр. 408. ...*Чернышевский со своим романом...* — Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». В нем развиваются революционные идеи преобразования жизни.

... *стали...* *«бурцевскими молодцами»*... — Имеются в виду Бурцев Владимир Львович, общественный деятель и журналист, редактор-издатель парижской газеты «Общее дело» (начинала выходить в Петербурге) и его сподвижники; его разоблачения провокаторов и агентов полиции (Е.Ф.Азефа и др.) привлекали всеобщее внимание. Он боролся с большевизмом и обличал Горького за его служение террористическому режиму большевиков.

Миссия русской эмиграции (стр. 409)

Газ. «Руль», Берлин, 1924, № 1013, 3 апреля.

Стр. 410. *«Ивиковы журавли»*. — В балладе В.А. Жуковского «Ивиковы журавли» (1813; перевод баллады Шиллера) рассказывается о певце Ивике (VI в. до н. э.), который, согласно древнегреческой легенде, был убит, когда направлялся на состязания певцов в Коринф. Крик стаи журавлей над толпой явился знаком, что «убийца тут», и был «исторгнут из толпы злодей».

Стр. 411. *«Вот выйдут семь коров тощих... лицо поколения будет собачье»*. — См. с. 538, 539.

...*взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди...* — Синайские скрижали — каменные доски с десятью заповедями, данными, по Библии, Богом пророку Моисею на горе Синай.

Нагорная проповедь — учение Иисуса Христа о путях к блаженству. В Святом Евангелии повествуется — Иисус Христос говорил:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Евангелие от Матфея, V: 1–12).

Стр. 412. *Министр-президент* — А.Ф. Керенский.

...*убийство Духонина*. — См. с. 60.

...*памятники Иуде и Каину*... — В Тамбовской губернии в 1918 г. был воздвигнут памятник Иуде, предавшему Иисуса Христа за тридцать сребреников.

Каин, как повествуется в Библии (Бытие, IV: 1–17), и брат его Авель — сыновья Адама и Евы. Каин убил Авеля из зависти: «Принес Каин из плодов земли дар Богу. И Авель принес также из первородных стада своего и из тука их. И призрел Бог на Авеля и на жертву его, а на Каина и на жертву его не призрел. И разгневался Каин сильно, и поникло лицо его... И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его».

... *семь заповедей Ленина*. — так называемые «Апрельские тезисы», программный документ борьбы за власть, который Ленин представил в апреле 1917 г. в Петрограде.

... *коснулся раки Преподобного Сергия*... — Мощи святого Сергия Радонежского (1314 [по другим данным — 1319] — 1392), основателя и игумена Троицкого монастыря, покоились в Троице-Сергиевой лавре.

Раку с мощами Преподобного Сергия Радонежского большевики вскрыли 11 апреля 1919 г., пренебрегая протестом духовенства, монахов и многих православных христиан. Об этом см.: К о с т о м а р о в Н. Бог и его подвижники. М., 1930.

Историк В.О. Ключевский сказал в речи по случаю 500-летия кончины Сергия Радонежского 26 сентября (8 октября) 1892 г. в Московской духовной академии (эту речь цитирует Бунин):

«Духовное влияние Преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа.

Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью Преподобного, что в эти пятьсот лет было молчаливо передумано и перечувствовано перед его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни» (К л ю ч е в с к и й В. О. Очерки и речи. Второй сборник статей. М., 1899, с. 194–209; см. также: Ключевский Василий Осипович. Сочинения в 9-ти томах, т. IX. М., «Мысль», 1990, с. 448).

Стр. 414. *Тир и Сидон* — города-государства древних финикийцев (современные Сур и Сайда), были известны богатством, успешной морской торговлей. Роскошь, нечестие, идолопоклонство их жителей неоднократно обличались пророками (см. с. 545), предрекавшими этим городам гибель.

Содом и Гоморра — по библейскому преданию, города, жители которых погрязли в распутстве и были истреблены огнем, посланным с неба. В Евангелии от Луки сказано: на Содоме «пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех» (XVII: 29).

... *дать вместо Бога идола в виде тельца*... — Когда пророк Моисей на горе Синай пребывал в беседе с Богом, евреи, и среди них брат его Аарон, совершили отступничество, стали требовать «зримого» и вещественного «бога, который бы шел пред ними», и Аарон изготовил золотого тельца, в честь которого тотчас же началось празднество (Исход, XXXII: 1–6).

Семашко Николай Александрович (1874–1949) — партийный деятель; с 1918 г. нарком здравоохранения.

Навуходоносор — царь Вавилона в 605—562 гг. до н. э.; разрушил Иерусалим, ликвидировал Иудейское царство и пленил многих иудеев.

Демидург — в теологии — Бог, Творец мира.

Стр. 415. ...*Иисуса на крест, а Варраву —//Под руки и по Тверскому...* — строки из стихотворения А. Мариенгофа «Октябрь»: «Опять Иисус на кресте, а Варраву//Под руки и по Тверскому...»

...*Кометой по миру вытяну язык,//До Египта раскорячу ноги...; Богу выщиплю бороду...*» — отдельные строки из стихотворения С.А. Есенина «Инония» (1918). У автора: «...Даже богу я выщиплю бороду...»

...*Молюсь ему матерщиной...* — неточная строка из стихотворения А. Мариенгофа «Кровью плюем зазорно...» (1918). У автора: «Молимся Тебе матерщиной...»

«*Се Аз восстану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря...*» — Библия: Книга пророка Иезекииля, XXVI: 2, XXVIII: 32.

Макдональд Джеймс Рамсей (1866—1937). — В 1924 г., когда премьер-министром Великобритании был лейборист Макдональд, его правительство установило дипломатические отношения с СССР.

«*Ах, ах, тра-та-та, без креста!*» — неточная цитата из А.А. Блока; в поэме «Двенадцать» сказано: «Эх, эх, без креста! Тра-та-та!»

Стр. 416. ...*гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.* — Бунин скорбел о погубленной большевиками России, но его не оставляла надежда о ее возрождении; он вспоминал евангельское повествование о радости Жен-Мироносиц и Апостолов в день воскресения из мертвых Иисуса Христа:

«На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.

И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег...

Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь; Он воскрес, как сказал... И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых...

Они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его» (Евангелие от Матфея, XXVIII: 1—8).

Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть. — Об этом — «Сказание об убиении в Орде Князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора» (XIII в.).

Князь Михаил Всеволодович был убит монголо-татарами в 1246 г. Он приезжал к Батыю, очевидно, для получения ярлыка на Черниговское княжество. В «Сказании» говорится: давались владения тем, кто, прибыв в Орду, «шел... через огонь и поклонялся кусту и идолам». Перед отъездом из Чернигова Блаженного Князя Михаила наставлял его духовник: «Твердо стой за веру христианскую, так как не подобает поклоняться христианам ничему сотворенному, а только Господу Богу Иисусу Христу».

В ханской ставке было много христиан и монголо-татар и все слышали, что Михаил сказал: «Тебе, царь, кланяюсь, потому что Бог поручил тебе царствовать на этом свете. А тому, чему велишь поклониться, — не поклонюсь». На это татарин Елдега сказал: «Михаил, знай — ты мертв!» После этого Михаил и Феодор «стали отпевать себя и, совершив отпевание, приняли Причастие, которое дал им с собою духовный отец их. И тут приехали убийцы, соскочили с коней и, схватив Михаила и растянув ему руки, начали бить его кулаками по сердцу. После этого повергли ниц на землю и стали избивать его ногами. Так продолжалось долго». И некто Доман, вероотступник, отрекшийся от христианской веры, «отрезал голову святому мученику Михаилу и швырнул ее прочь». Отрезали «честную голову» и Феодору. («Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., 1981, с. 229—235.)

Стр. 417. *Карташев* Антон Владимирович (1875—1960) — профессор Богословской академии в Париже.

Кульман Николай Карлович (1871—1940) — историк литературы, преподаватель русской литературы на курсах при Сорбонне.

...по выражению органа *Милюкова*... — Орган Милюкова — газета «Последние новости». Выходила с 27 апреля 1920 г.; Милюков был редактором-издателем с марта 1921 г. Издавалась до 1940 г., до оккупации Парижа немцами. Бунин сотрудничал в ней до 1927 г. — после того как ушел из «Возрождения».

Стр. 419. «...Бунин... позирует теперь под библейского Иоанна... защитник...» — Иоанн Богослов, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, был любимым Его учеником. В Библии говорится:

«При кресте Иисуса стояли Мать Его и сестра Матери Его Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

Иисус, увидев Мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се, сын Твой.

Потом говорит ученику: се, Мать твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Евангелие от Иоанна, XIX: 25—27).

... «*Вехи*» 1907 г. ... — Сборник «Вехи» был издан не в 1907-м, а в 1909 г.

Инония и Китеж (стр. 419)

Газ. «Возрождение», Париж, 1925, № 132, 12 октября.

Китеж — легендарный город; часто упоминается в народных русских преданиях, реже — в былинах. Его освобождает Илья Муромец «от силы татарской». По преданию, Китеж находился в Нижегородской губернии, в 40 верстах от г. Семенова, близ села Владимирского. При нашествии полчищ Батыя он скрылся под землю, и на этом месте образовалось озеро. Предания о Китеже см.: «Легенда о граде Китеже», в кн.: «Памятники литературы Древней Руси. XIII век». М., 1981, с. 212—227. Также: Андрей Печерский (П.И. Мельников). В лесах.

Стр. 420. *Змей-Тугарин*. — В былинах Тугарин Змеевич, «гибридный тип, соединяющий признаки антропоморфного чудовища, крылатого змея и представителя сил, враждебных Руси... Ис-

токи образа — в архаическом эпосе и в мифологии» (Б у л и н ы. Библиотека поэта. Большая серия, Л., 1986, с. 502—503).

...мы повернулись к Обдорам... — Обдорский край в Сибири. Обдорск — название г. Салехарда до 1933 г.

...каганская воля. — Каган — титул главы государства у древних тюркских народов (авар, печенегов, хазар и др.); каганская — ханская.

«Да, скифы мы с раскосыми глазами!» — неточные строки из стихотворения А.А. Блока «Скифы». У Блока: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, —//С раскосыми и жадными очами!» Скифы — древние кочевые племена в северном Причерноморье (VII в. до н.э. — III в. н.э.).

Я не чета каким-то там болванам... — искаженная (в доступных Бунину изданиях) цитата из стихотворения С. Есенина «Стансы» (1924): «И не чета каким-то там Демьянам...» Имелся в виду Демьян Бедный.

Стр. 421. Бабель Исаак Эммануилович (1894—1940) — писатель, автор двух циклов рассказов («Конармия» и «Одесские рассказы») и др. произведений. Репрессирован.

Сейфуллина Лидия Николаевна (1889—1954) — писательница, публиковала повести и рассказы («Правонарушители», «Перегной», «Виринея»); один из рассказов имеет характерное заглавие: «Мужицкий сказ о Ленине».

Пильняк Борис Андреевич (1894—1937) — писатель, автор рассказов, «Повести непогашенной луны», за которую он подвергся идеологическим нападкам; повесть «Красное дерево», запрещенная в Москве, была напечатана за рубежом в 1929 г. Репрессирован.

Соболь А. — см. с. 508.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895—1963) — писатель, автор сборника «Сопки. Партизанские повести» — о гражданской войне, романов и пьес.

Иоанн Дамаскин (ок. 675 — до 753) — византийский богослов, философ и поэт; автор церковных песнопений.

Стр. 422. Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — поэт, философ, критик, автор статей «Иллюзия поэтического творчества. (О гр. А.К. Толстом)», 1890; «Поэзия гр. А.К. Толстого», 1895.

Стр. 423. «Поэты-пролетарии» — входили в организацию «Пролеткульт»: М. Герасимов, А. Гастев, С. Обрадович, Н. Полетаев, Я. Бердников и др. Их любимые темы — заводской труд. Главным теоретиком «Пролеткульта» был А. Богданов.

...Сорвали мы корону//Со старого Кремля... — неточная цитата из поэмы М. Герасимова «Октябрь» (в оригинале — «С великого Кремля»).

...Лучами мажем нервы//И мускулы машин... — неточная цитата из поэмы М. Герасимова «Октябрь» (в оригинале — «смажем нервы»).

...За заборами низкорослыми//Гребем мы огненными веслами... — из поэмы М. Герасимова «Октябрь» (За заборами низкорослыми//Заводских корпусов//Гребем мы огненными веслами//Под брызгами знаменных слов...»).

...Белогвардейца — к стенке.//А Рафаэля забыли?//А почему не атакован Пушкин? — сокращенная и неточная цитата из стихо-

творения В.В. Маяковского «Радоваться рано!». Правильно: «Белогвардейца//Найдете — и к стенке.//А Рафаэля забыли?//Забыли Растрелли? (далее идут еще 16 строк)//А почему не атакован Пушкин?» (Газ. «Искусство Коммуны», 1918, декабрь.)

«Супрематисты». — Супрематизм (от лат. *supremus*, наивысший) — разновидность абстрактного искусства, введенного русским живописцем К.С. Малевичем в 1913 г.

...Взяли мы в шапке//Нахально сели,//Ногу на ногу задрав... — строки из стихотворения А. Мариенгофа «Октябрь» («Покорность топчем сыновью,//Взяли вот и в шапке//Нахально сели,//Ногу на ногу задрав»).

Вот «имажинист» ... — Имажинисты (от фр. *image* — образ) — литературная группировка 1920-х гг. (А. Мариенгоф, С. Есенин и др.), утверждала главенство самоцельного образа и формотворчества над смыслом, идеей.

...Я бумажка в клозете... — из сборника В. Шершеневича «Плавильня слов»: «И работу окончив обличительно тяжкую,//После с людьми по душам бесед,//Сам себе напоминаю бумажку я,//Брошенную в клозет».

...Кометой вытяну язык... — разрозненные строки из «Инонии» Есенина (1918).

...Проклинаю дыхание Китежа,//Обещаю вам Инонию... — из стихотворения С.А. Есенина «Инония» («Проклинаю я дыхание Китежа...//...Обещаю вам град Инонию»).

Стр. 424. ...безумство храбрых... — Из «Песни о Соколе» Горького.

...над «каретой прошлого» издевались... — ставшие нарицательными слова Сатина из пьесы М. Горького «На дне»: «В карете прошлого никуда не уедешь».

...Горький называл «мещанами» величайших русских писателей... — называл Толстого и Достоевского; см. также с. 540.

...Белый... кричит: «Россия, Россия — Мессия!» — Андрей Белый писал в стихотворении «Родине» (1917):

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня,
Россия, Россия, Россия —
Мессия грядущего дня!

...Заставил Блок танцевать... «Христосика»... — об этом — в «Двенадцати» А.А. Блока.

«Народ, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам...» — Блок писал в статье «Интеллигенция и революция» (9 января 1918 г.): «Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой» (Блок Александр. Собрание соч. в 6-ти томах, т. 4. Л., «Художественная литература», 1982, с. 235). Он призывал интеллигенцию: «Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг» (там же).

Большевики не только стреляли по русским святыням, но и запретили церковные службы в храмах Кремля.

В мае 1918 г. народ получил последнее разрешение посетить кремлевские соборы — в Пасхальную ночь. Комендант Кремля Мальков вспоминал: «Убедившись, что все необходимые меры приняты, я прошел к дверям Успенского собора к моменту выхода процессии с хоругвями и издали смотрел, как в последний раз (это было несомненно) совершался древний «языческий» обряд... «Последний раз ходят», — услышал я голос Владимира Ильича. Он с некоторыми товарищами тоже пришел посмотреть на последний выход пасхального церковного парада из Успенского собора» (А н а т о л и й Л а т ы ш е в . Без креста. — «Российская газета», 1992, 24 октября).

...Конь мой, конь, славянский конь! ...Конь несет меня лихой... звоном колокольным... — строки из стихотворения А.К. Толстого, без заглавия: «Колокольчики мои...»

Тмутараканский Болван. — В «Слове о полку Игореве» упоминается «тмутараканьский Болван» — каменная баба, истукан, устрашавший своей громадностью язычников-половцев, ему поклонявшихся. Древнерусское Тмутараканское княжество существовало на Таманском полуострове с конца X до начала XII века.

...«Лисы лают на русские щиты». — В «Слове о полку Игореве» говорится о том, что многое предвещало беду перед сражением русских воинов с половцами:

Игорь ратных к Дону ведет!
Уже беда его птиц скликает,
И волки угрозою воют по оврагам,
Клектом орлы на кости зверей зовут,
Лисицы брешут на червленые¹ щиты...

(Перевод В.А. Жуковского)

«Прозрений дивных свет» — из стихотворения Есенина «Стансы».

«Господи, отелись!» — из «Преображения» Есенина.

Святогор — богатырь-великан, герой русских былин («Илья Муромец и Святогор» и др.).

«Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия...»² — из письма А.К. Толстого к Б.М. Маркевичу 7 февраля 1869 г.

...От скотов нас Дарвин хочет... — четверостишие из «Послания к М.Н. Лонгинову о дарвинизме» А.К. Толстого (1872).

...кривоногий и раскосый Иван с его Инонией... «Я мужик, и посему я Русь!» — кричит Иван. Да, но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь. — Герой русских былин Поток (или Потык) — персонаж быliny А.К. Толстого «Поток-Богатырь». Его слова о «мужике», а равно и многое другое, о чем Поток-Богатырь говорит, звучало для Бунина весьма современно: это и саркастические строки о «патриотах»-атеистах, и о всяческой лженародности, подкрепляемой лозунгом — «Править Русью призван только черный народ!».

¹ Червленый — багряный и багровый, ярко-малиновый (В л . Д а л ь).

² Идиосинкразия — повышенная чувствительность к определенным веществам или воздействиям.

Стр. 426. ...*Сердце, сильней разгораясь от года к году...* — неточная начальная строка стихотворения А.К. Толстого без заглавия; правильно: «... от году до году».

...*Средь шумного бала, случайно...* — начальные строки стихотворения А.К. Толстого без заглавия. Оно стало популярным романсом на музыку П.И. Чайковского, обращено к Софье Андреевне Миллер (рожденной — Бахметевой); она оставила конногвардейского полковника и вышла замуж за Толстого.

После крымской кампании... — война России с Турцией и ее союзниками Англией, Францией, Сардинским королевством в 1853—1856 гг. Оборона Севастополя происходила в 1854—1855 гг. В этой битве участвовал Лев Николаевич Толстой, командовал артиллерийской батареей.

Стр. 427. *Со мной случилась недавно странная вещь...* — Бунин цитирует, в переводе с французского, письмо А.К. Толстого от 5 февраля 1875 г. к писательнице Каролине Карловне Сайн-Витгенштейн (1807—1893) (урожденной Яниш). Она — дочь обрусевшего немца, профессора Московского университета; известна под фамилией мужа — поэта и автора повестей — Н.Ф. Павлова; с ним она разошлась. Переписывалась с А.К. Толстым и перевела на немецкий язык его трагедии «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иоаннович». Ее талант и тонкое эстетическое чутье приводили А.К. Толстого в восхищение, и в письмах к ней он высказывал свои душевные мысли и идеи, определявшие его мировоззрение.

Стр. 428. ...*О, отпусти меня, калиф...* — строки из поэмы А.К. Толстого «Иоанн Дамаскин».

Стр. 429. ...*Край ты мой, родимый край...* — начальные строки стихотворения А.К. Толстого без заглавия.

...*Когда в селах пустеет...* — из баллады А.К. Толстого «Волки».

«*То было раннею весной...*», «*Вот уж снег последний в поле тает...*» — начальные строки стихотворений А.К. Толстого без заглавий.

...*Клонит к лени полдень жгучий...* — из стихотворения А.К. Толстого «Крымские очерки».

...*воспоминание это... религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия...* — Об этом см. т. 1 наст. изд., с. 16—17.

Стр. 430. «*Коль любить, так без рассудку...*», «*Господь, меня готовя к бою...*», «*Двух станом не боец, а только гость случайный...*», «*Что ни день, как поломя со влагой...*» — начальные строки стихотворений А.К. Толстого без заглавий.

...*письмо к жене...* — Бунин цитирует письма А.К. Толстого к С.А. Миллер от 14 октября 1851 г., 6 октября 1852 г., 31 июля 1853 г., 1 января 1855 г.

Блан Луи (1811—1882) — французский утопический социалист.

... *жил в веке Медичи...* — Медичи Лоренцо (прозвище Великолепный) (1449—1492), итальянский поэт, правитель Флоренции с 1469 г., способствовал развитию культуры Возрождения.

Челлини Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, писатель; в его автобиографии, получившей всемирную известность, «Жизнь Бенвенуто сына маэстро Джованни Челлини флорентийца, написанной им самим во Флоренции» рассказывается о творчестве, о встречах с Микеланджело, с главами Ватикана, с королем Франции, описываются путешествия.

«Европа выходит из своей роли...» — из письма к Б.М. Маркевичу 7 февраля 1869 г.

... гибель кандиотов... — Кандиоты — жители Цейлона.

«Я слишком художник...» — из письма А.К. Толстого к Б.М. Маркевичу 13 декабря 1868 г.

Сен-Жюст Луи (1767—1794) — член Комитета общественного спасения, сторонник Робеспьера. Казнен.

Робеспьер Максимильен (1758—1794) — деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев. Казнен.

Стр. 431. — *Не терплю богатых сеней...* — Бунин цитирует былинку А.К. Толстого «Илья Муромец».

«Как в Витбурге хорошо!...» — цитата из письма А.К. Толстого — С.А. Толстой 27 сентября 1867 г.

«Я не принадлежу ни к какой стране — я принадлежу всем. Моя плоть русская, славянская, но душа общечеловеческая». — Из письма А.К. Толстого — Каролине Карловне Сайн-Витгенштейн 9 мая 1869 г. Перевод с французского.

...«Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный». — Из письма А.К. Толстого к Б.М. Маркевичу 28 декабря 1869 г. Перевод с французского.

...Толстой... это в его устах значило: Русь Киевская, с Святогором, с Феодосием Печерским. — Былинный богатырь Святогор — олицетворение силы народной и справедливости. Феодосий Печерский (? — 1074) — инок, а затем игумен Киево-Печерского монастыря. О нем рассказывается в «Житии Феодосия Печерского» (XI в.), написанном монахом этой обители, древнерусским писателем и летописцем Нестором («Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века». М., 1978, с. 305—391).

«Светлого и просвещенного Феодосия», говорится в «Житии...», чтили князя, и его «не смел никто ослушаться, зная праведность его и святость» и непорочную его жизнь, внимая его многим поучениям, «святим духом кипящим в устах его», осуждавшего «братоненавиденье князей». Он мудро правил братией монастырской и вникал в дела княжеские.

Этот «блаженный муж» жил во время княжения великого князя Киевского Изяслава (1054—1073, с перерывом 1068—1069, когда княжил Всеслав), старшего сына Ярослава Мудрого.

Киевская Русь, «с Святогором, с Феодосием Печерским» была Русью западной, а не восточной. Толстой писал Б.М. Маркевичу 7 февраля 1869 г.: «И откуда это взяли, что мы антиподы Европе? Над нами пробежало облако, облако монгольское, но было это всего лишь облако. <...> Русские — европейцы, а не монголы» (Толстой А. К. Собрание соч. в 4-х томах, т. 4. М., 1964, с. 259). Предки русских не были народом восточным, исторически они издревле принадлежали Европе.

Славяне — венеды, пишет Карамзин, предки народа Российского, «еще в самой глубокой древности, лет за 450 до Рождества Христова», были известны и грекам, и римлянам, «обитая на юг от моря Балтийского. <...> Считаем венедов европейцами, когда история находит их в Европе». (Карамзин Н. М. История государства Российского, кн. 1, т. I). Птолемей полагал их «на

восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что оно издревле называлось Венедским» (там же). Карамзин указывает на сведения о славянах в еще более отдаленную эпоху — во времена Гомера.

А.К. Толстой говорит в письме к Б.М. Маркевичу 26 апреля 1869 г. о красоте истории Древней Руси до «проклятых монголов», о красоте нашего языка. В балладе «Три побоища», писал он М.М. Стасюлевичу 10 марта 1869 г., он ставил целью передать колорит эпохи Изяслава, а главное, «заявить нашу общность в то время с остальной Европой» (Толстой А. К. Собрание соч. в 4-х томах, т. 4. М., 1964, с. 268).

Эпоха Изяслава Ярославича «обильна сношениями с Европой»: сношениями дипломатическими, торговыми; были и «бесчисленные браки между нами и другими европейскими династиями»: «Гарольд норвежский был женат на Эльсе, дочери Ярослава, сын же Ярослава, Изяслав, был женат на дочери Болеслава польского, а брат его, Владимир, на Гиде, дочери Гарольда английского. Сам Ярослав — на Ингриде, дочери Олафа шведского. Анна, дочь Ярослава, была за Генрихом I французским, а другая дочь, Агмунда, за Андреем, королем Венгрии» (там же, с. 263, 271).

А.К. Толстой своими воззрениями на историю Древней Руси был близок Бунину.

«Собирание земли»... *Собирать хорошо, но что собирать?* — из письма Толстого — Б.М. Маркевичу 26 марта 1869 г.

Российская человечина (стр. 432)

Газ. «Возрождение», Париж, 1925, № 158, 7 ноября.

Стр. 435. ...*большая статья какого-то Воронского*... — Статья «Вне жизни и вне времени (Русская зарубежная художественная литература)» критика-коммуниста, партийного функционера, редактора журнала «Прожектор» А.К. Воронского напечатана в «Прожекторе», 1925, № 13.

Стр. 436. ...*из книги «Роза Иерихона»*. — Книга Бунина «Роза Иерихона» издана в Берлине в 1924 г.

...*Шмелев написал «Солнце мертвых»*. — «Солнце мертвых» И.С. Шмелева опубликовано в Париже в журнале «Окно», 1923, № 213; отдельное издание вышло в парижском издательстве «Возрождение» в 1926 г.

Эта книга о страдании человека, потерявшего единственного сына, Сергея, офицера Добровольческой армии, — он был расстрелян в Крыму большевиками, — и вместе с тем в ней — мучительная боль за свою Родину; новые «творцы жизни... — писал Шмелев, — расточили собранное народом русским! Осквернили гробы Святых и чуждый им прах Благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвали самую память Руси, стирали имена-лики».

Стр. 437. *Никитин Николай Николаевич (1895—1963)* — прозаик и драматург; входил в литературное объединение «Серапионовы братья».

...новая поэма Маяковского... — В журнале «Прожектор», 1925, № 13, напечатаны стихи, озаглавленные: «Париж. Из поэмы Владимира Маяковского».

В «Последних новостях» от 30 октября я недавно прочел... — В № 1693, 30 октября, напечатана статья без подписи: «Революционизм и культурничество».

Софийский звон (стр. 438)

«День русской культуры. Однодневная газета», Париж, 1926, 8 июня.

Стр. 438. *...предание о... князе Всеславе...* — Князь Всеслав Брячиславич — князь Полоцкий (XI в.). Стихотворение Бунина «Князь Всеслав» — в 1 т. наст. изд., с. 306; коммент. к нему — с. 484.

Думая о Пушкине (стр. 439)

Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 373, 10 июня. Отрывок из этой статьи в переработанном виде вошел в «Жизнь Арсеньева», кн. 3, гл. 8.

Стр. 439. *В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика...* — в рассказе «Будни»; ранее печатался под заглавием «На погосте». В тексте 4-го тома «Собрания сочинений», издание «Петрополиса», Берлин, 1935, Бунин вычеркнул в апреле 1953 г. фразы, которые он приводит в статье.

Стр. 441. *...Дикий лавр, и плющ, и розы...* — начало стихотворения Бунина «У гробницы Вергилия».

Стр. 442. *...Монастыри в предгорьях глухих...* — начальная строка стихотворения Бунина «В Сицилии».

...Помпея! Сколько раз я проходил... — стихотворение Бунина «Помпея».

...Вдали темно и чащи строги. — Бунин, «Псковский бор».

Бунин писал:

«Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»:

*У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том...*

Казалось бы, какой пустяк — несколько хороших, пусть даже прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле» («Жизнь Арсеньева», кн. 1, гл. XV).

Стр. 444. *«Не пой, красавица, при мне...»* — начальная строка стихотворения А.С. Пушкина, без заглавия.

«Вчера за чашей пуншевою...» — стихотворение А.С. Пушкина «Слеза».

«Цветок засохший, безуханный...» — стихотворение А.С. Пушкина «Цветок».

...«Мороз и солнце, день чудесный...» — А.С. Пушкин, «Зимнее утро».

...«и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю...» — А.С. Пушкин: «Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...» (Без заглавия.)

...«буря мглою небо кроет»... — из стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер».

...*Брюсова, росшего на Трубе в Москве.* — Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924), писатель, человек сугубо городской, по мнению Бунина, не проникся глубоким чувством русской природы, русской народной жизни и русского языка. *На Трубе* — на Трубной площади.

...«О Делия драгая, спеши, моя краса...» — А.С. Пушкин, «К Делии».

...«Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви...» — из стихотворения А.С. Пушкина «Ночь». У автора: «...за рощей глас ночной...»

Стр. 445. ...«Морфей, до утра дай отраду...» — А.С. Пушкин, «К Морфею».

...*В роще сумрачной, тенистой...* — из стихотворения А.С. Пушкина «Блаженство».

...«роняет лес багряный свой убор...» — из «19 октября» А.С. Пушкина.

...«Как привидение за рощею сосновой...» ... «к брегам, потопленным шумящими волнами...» — из стихотворения А.С. Пушкина «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...». (Без заглавия.)

...«среди зеленых волн, лобзающих Тавриду»... — из «Нереиды» А.С. Пушкина.

...видел «деву на скале, в одежде белой над волнами...» — из стихотворения А.С. Пушкина «Буря».

...«в горах, дорогою прибрежной»... ...*И зеленеющая влага//Пред ним и плещет и шумит...* — строки из поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». У автора: «...пред ним и блещет и шумит...»

О новой орфографии (стр. 445)

Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 522, 6 ноября. Декрет «О введении новой орфографии» был издан 10 октября 1918 г. Декрет подписан заместителем народного комиссара просвещения М. Покровским и управляющим делами Совета народных комиссаров В. Бонч-Бруевичем.

Новые правила, разработанные Народным комиссариатом просвещения в 1918 г., подверг научному анализу И.А. Ильин в статье «О русской орфографии».

По этим правилам, в частности, окончания прилагательных, причастий и местоимений -АГО, -ЯГО в родительном падеже заменялись на -ОГО, -ЕГО; в именительном и винительном множественного числа женского и среднего рода -ЫЯ, ИЯ — на ЫЕ, ИЕ; вместо ОНЕ (для женского рода) предлагалось писать ОНИ, вместо ЕЯ — ЕЕ; вводились и другие изменения.

Бунин и почти все русские эмигранты писали, печатали книги, журналы, газеты по старой орфографии.

Стр. 445. В «Последних новостях» напечатано открытое письмо ко мне г. Гофмана... — Гофман Модест Людвигович (1887—1959) — русский историк литературы. В августе 1922 г. был командирован Академией наук во Францию, остался в эмиграции. Читал лекции по русской литературе в Сорбонне. В «Последних новостях», 1926, № 2052, 4 ноября было напечатано его «Открытое письмо И.А. Бунину». Гофман возражал Бунину, опубликовавшему статью «Записная книжка» в газете «Возрождение», 1926, № 513, 28 октября.

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — академик, русский языковед, историк древнерусской литературы.

Мануйлов Александр Аполлонович (1861—1929) — экономист; при Временном правительстве — министр народного просвещения, участвовал в реформе правописания; после революции эмигрировал, но вскоре возвратился; в 1919—1920 гг. работал консультантом наркома финансов, с 1924 г. входил в правление Госбанка.

Памяти Юшкевича (стр. 446)

Газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 622, 14 февраля.

Стр. 446. *Юшкевич* Семен Соломонович (1868—1927) — писатель; приятель Бунина. В 1920 г. эмигрировал во Францию. Встречались они и в Париже. В.Н. Муромцева-Бунина писала, что Бунин говорил ей: «Юшкевич нравится мне... Он всегда несет и с Дона и с моря, но человек талантливый, живой, органический, а вот Серафимовича терпеть не могу. Обратила ты внимание на его лошадиные зубы?» (В. Муромцева. «Юшкевич. Отрывки воспоминаний». — «Последние новости», Париж, 1930, № 3221, 16 января). О встречах в 1910 г. она пишет:

«Ранняя одесская весна. Мы, на пути в Алжир, гостим в этом чудесном городе, где ежегодно проводим несколько недель. В Одессе у Ивана Алексеевича много приятелей, среди них Юшкевич. Юшкевич в радостном настроении: Художественный театр принял к постановке его пьесу «Miserege», — и ему очень захотелось познакомить близких ему людей со своей новинкой. «В награду за слушанье» он обещал угостить «настоящим еврейским обедом»... Пьеса всем понравилась». Были «бесконечные споры об Игоре Северяnine, которым с легкой руки Сологуба стали увлекаться многие и который тогда недавно был в Одессе...»

«Юшкевич спорил как бы для самого себя, часто совсем не слушая собеседника, оглушая его парадоксами, пренебрегая логикой: казалось, что он просто думает вслух, чтобы разобраться в том, что его в данное время волнует, чем живет его душа, его живой и недисциплинированный ум; он задирчив, шумен. Жил настоящим, злободневным» (там же).

В дневнике В.Н. Муромцева-Бунина пишет 15 (28) мая 1919 г. о споре Бунина с Юшкевичем: «Приходил Юшкевич уговаривать Яна поступить в Агит-Просвет. Он доказывал, что просвещать всегда, при всяких властях, хорошо. Ян только плечами пожимал. Юшкевич настаивал, указывал, что Яна могут обвинить в сабота-

же. Ян возражал: «Саботируют те, кто служит и портит дело. Я же не служу, и заставить меня служить никто не может». — «Но ты умрешь с голоду», — кричит Семен Соломонович. — «Лучше стану с протянутой рукой на Соборной площади, чем пойду туда. Пусть этот факт останется в истории».

Стр. 447. «Возвратится персть в землю...» — Библия: Книга Экклезиаста, или Проповедника, XII:7.

Наш поэт (стр. 447)

Газ. «Возрождение», Париж, 1927, № 793, 4 августа. Статья Бунина — некролог поэта и прозаика Ивана Савина (псевдоним, настоящ. имя — Иван Иванович Саволайнен). Он родился в Одессе 29 августа ст. ст. 1899 г.; скончался 12 июля 1927 г. в Хельсинки «от заражения крови, 28 лет», — сообщает Р. Полчанинов в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк, 1987, 12 июля). «Дед Ивана Савина, — продолжает автор статьи, — финский моряк Иохан Саволайнен был женат на русской гречанке, а его сын, Иван Иванович, отец поэта, был женат на Анне Михайловне Волик, по отцу молдаванке». Иван Савин финского языка не знал; его детство и юность прошли в городе Занькове Полтавской губернии.

Он воевал на стороне белых в Добровольческой армии Врангеля в Крыму. Старшие братья Михаил и Павел были расстреляны красными. Иван узнал об этом в плену. Юрий Терапиано в своем очерке о Савине пишет: «Часовой Чека, чувствовавший симпатию к Савину, показал ему как-то два бумажника, взятых им с расстрелянных офицеров, с бумагами и фотографиями. Это были бумажники двух его братьев, артиллеристов, и Савину стоило нечеловеческих усилий воли, чтобы не выдать себя».

Он попал в плен к красным в Джанкое, заболев тифом. Ему удалось скрыть то, что он офицер, это спасло от расстрела: оказавшийся в плену вместе с ним рядовой улан сказал, что они оба были мобилизованы белыми. О пребывании у красных он пишет в повести «Плен».

В 1921 г., освободившись из плена, Иван Савин приехал в Петроград, а в 1922-м — в Хельсинки вместе с отцом, получил работу на сахарном заводе, сколачивал ящики. Постепенно он приходил в себя после всего пережитого; стал заниматься творчеством. Доставляли радость встречи с такими людьми, как И.Е. Репин.

Последние три года были посвящены исключительно литературному труду. Он издал повесть «Правда о 7000 расстрелянных».

В 20—30-х годах «белая эмиграция была хорошо знакома с поэзией Ивана Савина по сборнику его стихов «Ладонка».

Стихотворение «У последней черты» (1925) посвящено Бунину. Иван Савин всей душой любил Россию; писал:

Ты ли, Русь бессмертная, мертва?
Нам ли сгинуть в чужеземном море?!

Он был человеком разносторонне одаренным. Ю. Терапиано пишет:

«И. Савин хорошо рисовал, был очень музыкален и прекрасно играл на рояле. Но главным своим делом он считал поэзию». Его стихи полны мысли о России, о ее настоящем призвании — быть оплотом духовности и правды в мире, и негодования по поводу временной победы злых сил, олицетворявшихся в коммунизме».

Книгу стихов и прозы Ивана Савина подготовила к изданию его вдова Людмила Владимировна Сулимовская: «Только одна жизнь. 1922—1927» (Нью-Йорк, 1988).

В Москве стихи и проза впервые изданы в 1998 г. издательством «Изограф»: И в а н С а в и н. «Мой белый витязь...», с предисловием составителя В. Леонидова.

Проклятое десятилетие (стр. 450)

П.Б. Струве просил Бунина (в письме 26 октября 1927 г.) дать что-нибудь для номера газеты «Россия», посвященного «проклятому десятилетию». Бунин ответил письмом 17/30 октября 1927 г.; оно было напечатано в «России» 5 ноября.

Печатаем этот текст.

<Обращение И.А. Бунина к Ромену Роллану> (стр. 450)

Газ. «L'Avenir», Paris, 1928, 12 января. В этом же номере газеты напечатано открытое письмо К.Д. Бальмонта. Поводом для совместного обращения Бунина и Бальмонта к Ромену Роллану послужила его статья «Приветствие к величайшей годовщине в истории народов» (4 ноября 1927), написанная по случаю десятилетия захвата власти коммунистами в России. (См.: Р о л л а н Р о м е н. Собрание соч. в 14-ти томах, т. 13, М., 1958, с. 152—153). Ромен Роллан напечатал «Ответ Константину Бальмонту и Ивану Бунину» в журнале «Еurore», 1928, № 2. Горький там же поместил письмо Роллану, одобрительно отзываясь о том, что писал Роллан, и враждебно — о Бунине и Бальмонте (т а м ж е, 1928, № 63, 15 марта; см. также: «Правда», 1928, № 70, 23 марта; см.: «Литературное наследство», т. 70, М., 1963. Горький). Бальмонт, в ответ на статью Горького, выступил с полемически острой статьей в «Возрождении», 1928, № 1033, 31 марта.

Стр. 451. «Вероятно, что многие идеи нас разделяют...» — Цитата, которую приводит Бунин, дана в русском переводе в «Новостях литературы», Берлин, 1922, 1 августа, с. 48; см. т. IV наст. изд., с. 490.

Дон-Аминадо (с. 451)

Журн. «Современные записки», Париж, 1927, кн. 33. — См. также: Ив. Бунин, «Дым без отечества». — Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 346, 27 июня.

Дон-Аминадо — псевдоним Аминада Петровича Шполянского (1888—1957), писателя-юмориста и сатирика. Статья Бунина — отзыв на книгу Дона-Аминадо «Наша маленькая жизнь», Париж, 1927. Изданы также его книги: «Песни войны» (М., 1915), «Весна семнадцатого года» (М., 1917), «Дым без отечества» (Париж, 1935), «В те баснословные годы» (Париж, 1951).

Конец Мопассана (стр. 452)

Газ. «Последние новости», Париж, 1928, № 2783, 4 ноября.

В статье отчасти пересказывается книга Норманди: Normandy G. La fin de Maupassant, Paris, 1927. Бунин обращался к Мопассану в дневниках своего путешествия по Индийскому океану в 1911 г. «Воды многие» и в рассказе «Бернар» (1952; ранняя редакция 1927—1930 гг.): он приводит в вольном переводе отрывки из очерка Мопассана «На воде».

На поучение молодым писателям (стр. 460)

Газ. «Последние новости», Париж, 1928, № 2829, 20 декабря.

Бунин пишет о статье Г.В. Адамовича «О французской «inquiétude»¹ и русской тревоге», напечатанной в «Последних новостях», 1928, № 2822, 13 декабря.

У Бунина были расхождения с Георгием Викторовичем Адамовичем (1892—1972) и споры. Но он необыкновенно высоко ценил его литературный дар и писал Н.В. Кодрянской 20 июня 1951 г.:

«А лучший критик в эмиграции, в Париже, Адамович» (ЛН, кн. 1, с. 679). Бунин причислял Адамовича к людям, с которыми ему наиболее интересно говорить о литературе. См. также т. 5 наст. изд., с. 7.

<О киноискусстве. Ответ на вопросы анкеты> (стр. 463)

Анкета — письмо Бунина поэту и журналисту А.Г. Блоку. Подлинник письма — в Архиве Колумбийского университета. Опубликовано профессором Ватерлооского университета А. Зверсом в «Новом журнале», Нью-Йорк, 1975, кн. 120; перепечатано нами в журнале «Подъем», Воронеж, 1977, № 1. Печатается текст «Нового журнала». Бунина привлекала темпераментная игра русского актера И.И. Мозжухина, создавшего в немом кино образы Николая Ставрогина (в фильме по роману Достоевского «Бесы»), Германна в «Пиковой даме», князя Касатского в «Отце Сергии» (по Л.Н. Толстому), игравшего потом во французском и американском кино. «Проходящие тени», «Кин» и другие зарубежные фильмы с его участием шли на

¹ Беспокойство, тревога (фр.).

наших экранах. Следил Бунин за игрой в кино и Ольги Константиновны Чеховой, племянницы Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Ее у нас всячески замалчивали за эмиграцию. Родилась она в 1898 г. Уехала в Германию в 1921 г. Вышла замуж за племянника А.П. Чехова, Михаила Александровича Чехова, а впоследствии — за кинопродюсера Ференца Яроши. Умерла 10 марта 1980, 82-х лет. О ней сообщалось в «Иллюстрированном воскресном приложении к «Рулю», Берлин, 1924, № 3, 6 апреля.

Захватили Бунина драматизмом и психологической глубиной роли американской актрисы Греты Гарбо, участвовавшей в фильмах «Королева Христина» и «Анна Каренина».

Среди лучших кинокартин Бунин, отвечая на заданные ему вопросы, отметил американский фильм «Цирк» Ч. Чаплина с участием Эмиля Яннинга, создавшего в кино образы Дмитрия Карамазова и Отелло; назвал лучшим и фильм в стиле венских оперетт «Маскарад» австрийского режиссера и актера Вилли Форста. В американском фильме «Маленькие женщины» Бунин назвал игру актрисы Кэтрин Хепберн (имя ее он не мог вспомнить) «прекрасной».

Фильмы немецкого режиссера Георга Пабста, бежавшего в 1933 г. из гитлеровской Германии во Францию, Бунин даже определяет в некотором смысле как поэмы — такова сила их художественного воздействия. С этим нетрудно согласиться, если вспомнить фильм Пабста «Дон Кихот» с Шаляпиным в главной роли.

«Прекрасен», по словам Бунина, и актер Валерий Инкижинов в фильме В.И. Пудовкина «Потомок Чингисхана» (1929, сценарий О. Брика, оператор А. Головня, художник С. Козловский), он демонстрировался за рубежом под названием «Буря над Азией». Инкижинов играл главную роль молодого охотника монгола Баира, возглавившего борьбу монгольского народа против иностранных захватчиков. К фильмам, для которых, по мнению Бунина, выбор «героев» сделан неудачно, относится «Екатерина Великая» с участием Элизабет Бергнер в главной роли.

<Франсуа Мориак> (стр. 465)

Эта статья — предисловие Бунина к книге: М о р и а к Ф р а н с у а. Волчица (Genitrix). Перевод Г.Н. Кузнецовой. Париж, 1938. Печатается этот текст.

Стр. 465. *Баррес* Морис (1862—1923) — французский романист; автор мемуаров «Мои тетради», т. 1—14; член Французской академии.

Бодлер Шарль (1821—1867) — французский поэт-декадент. Автор сборника «Цветы зла» и других поэтических книг, а также статей о французском искусстве и литературе.

Рембо Артюр (1854—1891) — французский поэт-символист.

Памяти П.А. Нилуса (стр. 466)

Газ. «Русские новости», Париж, 1946, № 54, 24 мая.

Нилус Петр Александрович — живописец, писатель; см. также с. 101. «Письма Бунина Нилусу» опубликованы в журнале «Русская литература», 1979, № 2, с нашей вступительной заметкой (автографы в архиве Лидского университета, Англия). Письма Нилуса Бунину хранятся в *РГАЛИ* (174 письма за 1901–1915 гг.) и в Музее Тургенева в Орле (26 писем за 1902–1914 гг.). 108 писем Бунина к Нилусу приобретены Лидским университетом у вдовы Нилуса Берты Соломоновны. Статья Нилуса «Бунин и его творчество» напечатана в *ЛН*, кн. 2, с предисловием И.Д. Бажинова.

<Александр Клягин> (стр. 467)

Эта статья — предисловие Бунина к книге Александра Клягина «Страна возможностей необычайных», Париж, 1947. Печатается этот текст.

<Андрей Седых> (стр. 469)

Статья — предисловие Бунина к книге «Звездочеты с Босфора» (Нью-Йорк, 1948) Андрея Седых (Якова Моисеевича Цвибака) (1902 — 8 января 1994 г.), журналиста и писателя. Печатается этот текст. Андрей Седых эмигрировал из России восемнадцати лет — в 1920 г., только что окончив гимназию в Феодосии. Прибыл на корабле в Турцию; в Константинополе работал матросом, грузчиком, продавал газеты. Потом перебрался в Париж, где окончил школу политических наук при университете. В 1942 г. бежал вместе с женой, артисткой Женни Грей, из Франции в Америку, спасаясь от гитлеровского нашествия на так называемую «свободную» зону на юге страны. (Хронологию биографических данных Андрея Седых см. в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1998, 24 апреля). С 1973 г. и до последних своих дней А. Седых был редактором-издателем нью-йоркской газеты «Новое русское слово». Он также автор книг: «Старый Париж» (Париж, 1926), «Монмартр» (Париж, 1927), «Париж ночью» (Париж, 1928, с предисловием А.И. Куприна), «Там, где жили короли» (Париж, 1930), «Там, где была Россия» (Париж, 1931), «Люди за бортом» (Париж, 1933), «Дорога через океан» (Нью-Йорк, 1942); он издал книги мемуаров «Далекие, близкие» (Нью-Йорк, 1962) и «Земля обетованная» (Нью-Йорк, 1966), эта книга дважды издавалась в английском переводе — вторым изданием вышла в 1967 г. Андрей Седых выпустил второй том «Земли обетованной», под заглавием «Иерусалим — имя радостное» (Нью-Йорк, 1969).

<Речь о Пушкине> (стр. 473)

Произнесена в дни празднования 150-летия поэта в Париже, в публичном собрании. Печатается по ксерокопии с автографа, которую любезно прислал Андрей Седых; опубликована в книге А. Седых «Далекие, близкие», Нью-Йорк, 1962, с. 220.

«Мы не позволим» (стр. 474)

Газ. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1951, № 14136, 7 января. Стр. 477. «*Есть на Волге утес...*» — песня на стихи А.А. Навроцкого («Русские песни». Составил Ив.Н. Розанов. М., 1952, с. 280–281). Музыка написана А. Рашевской, а позднее (1896) А.А. Навроцким («Утес на Волге...»); там же, с. 281.

<Литературное завещание> (стр. 479)

К моему завещанию, 1942, и К моему литературному завещанию, 1951. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1961, декабрь. Опубликовано Л.Ф. Зуровым по рукописи из архива Бунина. Печатается этот текст.

Стр. 480. «*Песнь о Гайавате*»... *парижского издания*... — См. т. 2 наст. изд., с. 330 (титульный лист с надписью Бунина и с его исправлениями), с. 333 (фотокопия предисловия «От переводчика», с сокращениями, сделанными Буниным, и с его надписями на полях), с. 549–551 (комментарий автора этих строк).

Стихи... отдельный том. — В собраниях сочинений в России и в берлинском издании 1934–1936 гг. (изд-во «Петрополис») стихи и проза были объединены в различных томах.

...исправленный ...экземпляр «Освобождения»... — Этого экземпляра в России нет.

Стр. 481. «*Нивское*» издание: Б у н и н И. А. Полное собрание соч., т. 1–6, изд. Т-ва А.Ф. Маркс, Пг., 1915; приложение к журналу «Нива». Исправленный и сокращенный Буниным текст хранится в ИМЛИ (основная его часть) и в РГАЛИ.

...вроде изданий Д.И. Тихомирова. — Тихомиров Дмитрий Иванович (1844–1915) — русский педагог, автор книг для чтения в начальной школе.

...пакет стихов, писанных рукой... — Тетрадь со стихами, писанными рукой, из парижского архива Бунина, находится в РГАЛИ, другие автографы стихов — в архиве Лидского университета.

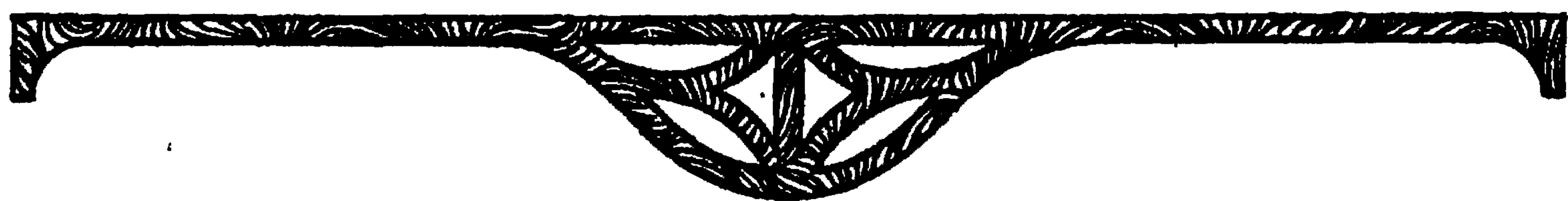
Стр. 482. *...рецензии... начиная с самой первой — И.И. Иванова...* — Отзывы на первый сборник стихов Бунина, вышедший в Орле в 1891 г., напечатаны: «Артист», 1892, № 20, автор — И.И. Иванов; «Наблюдатель», 1892, кн. 3; «Мир Божий», 1892, кн. 3, библиогр. листок; «Север», 1892, № 9, 1 марта; «Всемирная иллюстрация», 1892, № 1218, 23 мая; «Орловский вестник», 1892, № 118, 6 мая и № 137, 28 мая.

К моим «Воспоминаниям» (стр. 482)

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 1953, 17 мая.

Стр. 485. *Мельгунов* Сергей Петрович (1879–1957) — историк; бывший редактор журнала «Голос минувшего»; эмигрировал; написал книги: «Красный террор», «Колчак», «Великий подвижник протопоп Аввакум». Опубликовал в еженедельнике «Борьба за Россию» (Париж) в 1931 г. в семи выпусках книгу «Чекистский Олимп» (о Ф.Э. Дзержинском, В.Р. Менжинском, М.С. Кедрове).

А. Бабореко



СОДЕРЖАНИЕ

А.К. Бабореко. Глагол времен 5

ОКАЯННЫЕ ДНИ

От автора 27
Дневник 1917–1918 гг. 29
Окаянные дни 68

ВОСПОМИНАНИЯ

Автобиографические заметки 173
Рахманинов 207
Репин 209
Джером Джером 210
Толстой 212
Чехов 221
Шаляпин 239
Горький 247
Его высочество 255
Куприн 262
Семеновы и Бунины 273
Эртель 281
Волошин 290
«Третий Толстой» 301
Маяковский 324
Гегель, фрак, метель 331
Нобелевские дни 340

СТАТЬИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 1918–1953

Страшные контрасты 351
<Привет союзникам> 352
Заметки:
 «Опять еврейские погромы...» 352
 «Был и, слава Богу, еще есть...» 356

«Из «Великого дурмана»	358
Суп из человеческих пальцев	364
Красный гимн	368
«Пресловутая свинья»	370
Несколько слов английскому писателю	375
Записная книжка. <О калмыках>	384
Чехи и эсеры	386
В чем сила большевиков?	390
Его вечной памяти	392
Из записной книжки	392
Самогонка и шампанское	394
Записная книжка. <О Горьком>	399
Об Эйфелевой башне	401
С Новым годом	404
Великая потеря	404
«Голубь мира»	405
Литературные заметки	407
Миссия русской эмиграции	409
Инония и Китеж	419
Российская человечина	432
Софийский звон	438
Думая о Пушкине	439
О новой орфографии	445
Памяти Юшкевича	446
Наш поэт	447
Проклятое десятилетие	450
<Обращение И.А. Бунина к Ромену Роллану>	450
Дон-Аминадо	451
Конец Мопассана	452
На поучение молодым писателям	460
<О киноискусстве. Ответ на вопросы анкеты>	463
<Франсуа Мориак>	465
Памяти П.А. Нилуса	466
<Александр Клягин>	467
<Андрей Седых>	469
<Речь о Пушкине>	473
«Мы не позволим»	474
К моему завещанию	479
К моему литературному завещанию	480
К моим «Воспоминаниям»	482
Комментарии	489
Алфавитный указатель прозаических произведений И.А. Бунина, переводов, автобиографических заметок и дневниковых записей, помещенных в томах 2—8	563

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

Собрание сочинений в восьми томах

Том восьмой

**На с. 34, 59, 107, 132, 181, 236, 286, 361, 381, 413, 455, 472
помещены текстовые иллюстрации**

**Редакторы *И. Колчина, Л. Сидоренко*
Технический редактор *С. Устинова*
Корректор *Е. Кортаева***

**Издательство «Московский рабочий»,
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Лицензия № 010184**

**Сдано в набор 20.08.2000 Подписано к печати 14.12.2000
Формат 84 × 108¹/₂. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Объем 18,0 п.л. + 0,5 п.л. вкладка
Тираж 5000 экз.
Заказ 16**

**Подготовка к печати
Издательский дом «Галерея»**



**Тел./факс: 281-22-26, 281-39-20, 971-41-09
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
на производственно-издательском комбинате «Офсет»
660049, Красноярск, ул. Республики, 51
Тел. (3912) 23-36-81. E-mail: marketing@offset.krsn.ru**